

Лев Бердников

Русский Галантный век в лицах и сюжетах

Книга первая



Лев Бердников

**Русский Галантный век в
лицах и сюжетах. Книга первая**

«Accent Graphics communications»

2013

Бердников Л. И.

Русский Галантный век в лицах и сюжетах. Книга первая /
Л. И. Бердников — «Accent Graphics communications», 2013

В книге известного писателя Льва Бердникова предстают сцены из прошлого России XVIII века: оргии Всешутейшего, Всепьянейшего и Сумасброднейшего собора, где правил бал Пётр Великий; шутовские похороны карликов; чтение величальных сонетов при Дворе императрицы Анны Иоанновны; уморительные маскарады – “метаморфозы” самодержавной модницы Елизаветы Петровны. Автор прослеживает судьбы целой плеяды героев былых времён, с именами и громкими, и совершенно забытыми ныне. Уделено внимание и покорению российскими стихотворцами прихотливой “твёрдой” формы сонета, что воспринималось ими как победа над трудностью. Лавры этой победы – овладение художественным опытом Европы, с поправкой на российские вкусы и черты, на российскую веру в себя – мыслились как возвышение Отечества. Книга о тех, кто способствовал развитию русской культуры и необычайно её обогащал, отчасти подготовив то, чем ныне она имеет право гордиться.

© Бердников Л. И., 2013

© Accent Graphics
communications, 2013

Содержание

Фавориты, Щеголи, Вертопрахи...	6
По имени Великий. Василий Голицын	6
Ментор для русского царя. Франц Лефорт	15
Венценосный брадобрей. Петр I	25
Предерзкое щегольство	32
Несостоявшаяся царица. Анна Монс	44
Шереметев Благородный. Борис Шереметев	52
Метаморфозы Стольника. Петр Толстой	59
Сиятельный казнокрад, или Цена щегольства. Матвей Гагарин	64
“Не скорбя о суете мира сего”. Александр Меншиков	70
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Лев Бердников
Русский Галантный век в
лицах и сюжетах. Книга первая

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Посвящается матери, моему доброму гению.

Фавориты, Щеголи, Вертопрахи...

По имени Великий. Василий Голицын

В 1721 году императору Петру Алексеевичу был присвоен титул «Великий». В истории российской это было не ново – за 35 лет до Петра так называли «царственные большая печати и государственных великих посольских дел обергегеля, ближнего боярина и наместника новгородского» князя Василия Васильевича Голицына (1643–1714).

Сподвижники и апологеты Петра тщились сделать всё, чтобы имя этого харизматического деятеля, первого министра при ненавистной царю сестре-регентше Софье Алексеевне, было предано забвению. Некоторые изображали князя бесплодным мечтателем. Историк Александр Брикнер отметил: «Большая разница между намерениями Голицына и действительными результатами его управления делами представляется странным противоречием».

Однако раздавались и другие голоса. Администрация Софьи с Голицыным во главе получила высокую оценку искусственной в политике Екатерины II, отметившей, что правительство это имело все способности к управлению. И уж, конечно, дорогого стоит характеристика ревностного приверженца Петра I князя Бориса Куракина, который ещё в 1720 годы не побоялся признать: «И всё государство пришло во время её (Софьи – Л. Б.) правления чрез семь лет в цвет великого богатства. Также умножились коммерция и всякие ремёсла, и науки почали быть восставлять латинского и греческого языку. Также и политес восстановлена была в великом шляхетстве и других придворных с манеру польского – и в экипажах, и в домовом строении, и в уборах, и в столах... А правление внутреннее государства продолжалось во всяком порядке и правосудии, и умножилось народное благо». Высоко отзывался о князе Василии и фаворит царя Франц Якоб Лефорт в письме к брату.



И друзья, и враги Голицына сходились в одном: это был исключительно талантливый государственный, дипломат и реформатор. Такими, как известно, не рождаются, а становятся.

И именно в раннем возрасте были заложены основы его будущих свершений. Василий родился в знатной семье и был потомком великого князя литовского Гедимина, чей род традиционно возводился к Рюрику. Уже в XV веке его предки служили московским государям, так что своей знатностью Голицыны вполне могли поспорить с самими Романовыми.

В девять лет Василий потерял отца. Стараниями матери – княгини Татьяны Ивановны, урождённой Стрешневой, – он получил прекрасное домашнее образование. Благодаря происхождению и родственным связям юный князь в пятнадцать лет попал во дворец к царю Алексею Михайловичу. Он начал службу со скромного, но облечённого особым доверием царя чина стольника. Постепенно поднимаясь, он достиг в 1676 году боярского звания.

Во время царствования Фёдора Алексеевича Голицын стал заметным деятелем правительственного кружка, заведовал Пушкарским и Владимирским судным приказами, уже тогда выделяясь на фоне остальных бояр гуманностью, и, как говорили современники, «умом, учтивостью и великолепием». Именно ему, родовитому боярину, принадлежит инициатива по отмене местничества в России (12 января 1682 года): были преданы огню разрядные книги, причинявшие вред службе и сеявшие раздор между знатными семействами. Этим князь предвосхитил реформы Петра не только *de jure*, но и *de facto*, поскольку окружил себя помощниками вовсе не родовитыми, вроде Леонтия Неплюева, Григория Касогова, Венедикта Змеева, Емельяна Украинцева – иными словами, выдвигал людей по годности, а не по «породе».



*Царевна Софья Алексеевна.
Копия с гравюры И. Штенглина.*

Но, пожалуй, наиболее впечатляющих успехов Голицын достиг в «книгочтении». В этом сказались и семейная традиция, и его собственная неукротимая жажда знаний. Иностранцы

называли его любителем всякого рода наук, что было редким в России. Князь радел о введении образовательной системы в стране. Показательно, что именно при его деятельном участии была открыта в Москве Славяно-греко-латинская академия – первое в России высшее учебное заведение.

Однако во всю ширь дарования князя развернулись с 1682-го по 1689 годы, в период регентства сестры малолетнего Петра Софьи Алексеевны, при которой он фактически возглавил правительство России. С правительницей его связывали не только служебные отношения. Князь Борис Куракин отметил: «И тогда ж она, царица София Алексеевна, по своей особой инклинации и амуру, князя Василия Васильевича Голицына назначила дворовым воеводою войски командировать и учинила его первым министром и судьёю Посольского приказа, который вошёл в ту милость чрез амурные интриги. И почал быть фаворитом и первым министром и был своею персоной изрядной, и ума великого, и любим от всех».

Утверждали, что князь сошёлся с регентшей лишь ради выгоды, а вот Софья в была самом деле «страстно влюблена» в него. Думается, однако, что и Голицыным руководил не только голый расчёт. Конечно, царица не была красавицей, какой впоследствии изобразил её Вольтер, знакомый лишь с ее портретами. Но не была она и толстой, угрюмой, малопривлекательной бабой, коей предстаёт она на знаменитой картине Ильи Репина. Царица манила обаянием молодости (ей было тогда двадцать четыре года, князю – под сорок), бьющей через край жизненной энергией, острым умом, наконец – самой магией своего имени, которое придворные богословы и пииты прямо соотносили с божественной Премудростью. Итак, честолюбивый князь и властолюбивая царица – Гедиминович Голицын и Софья Романова взошли на вершину российской власти рука об руку.

Голицын строил широкие планы социально-политических реформ, думая о преобразовании всего государственного строя России. Он мыслил о разрушении крепостного права с наделением крестьян тем количеством земли, которым они пользовались. (Не заимствовал ли он эту мысль из государственной практики Швеции?) Историк Василий Ключевский с восхищением написал впоследствии: «Подобные планы о разрешении крепостного вопроса стали возвращаться в русские государственные умы не раньше как полтора столетия спустя после Голицына».

Несомненной заслугой князя явилась финансовая реформа страны: вместо обилия налогов, лежавших тяжким бременем на населении, был введён один, и собирался он теперь с определённого количества дворов, то есть с конкретных лиц.

С именем Голицына связано и совершенствование военной мощи державы – увеличилось число полков «нового» и «иноземного» строя, стали формироваться рейтарские, драгунские, мушкетёрские роты, которые служили по единому уставу и подчинялись одной программе. Князю приписывают постройку деревянных мостовых, а также трёх тысяч каменных домов в Москве, в том числе зданий в Кремле, великолепных палат для присутственных мест. Но наиболее впечатляющим было строительство легендарного Каменного моста о двенадцати арках через Москву-реку. Это сооружение по тому времени казалось настолько дорогим, что даже вошло в поговорку: «Дороже каменного моста». При Голицыне развилось книгопечатание – за семь лет вышли сорок четыре книги, что по тем временам было немало. Он выказал себя меценатом, покровителем первых русских профессиональных писателей – Симеона Полоцкого и Сильвестра Медведева (последний был в 1691 году казнён Петром I как сподвижник Софьи). Зародилась светская живопись (портреты-парсуны); нового уровня достигла иконопись; расцвело архитектурное направление, которое позднее получило название «голицынское барокко». Внёс князь свою лепту и в дело гуманизации уголовного законодательства: были облегчены условия холопства за долги, отменены варварские обычаи казнить за «возмутительные слова» и закапывать в землю мужеубийц. Они – увы! – были возобновлены при Петре.

Свободное владение греческим, латинским, польским и немецким языками позволило Голицыну без труда общаться с иноземными дипломатами и деятелями культуры. Князь стяжал славу истого западника и сторонника католицизма (последним отличаясь от Петра, который тяготел к протестантизму).

Историки свидетельствуют, что ранее европейские державы считали Россию огромным варварским государством, которую можно использовать в коммерческих целях как путь на восток или в качестве пугала для врагов, но никогда не рассматривали ее как цивилизованную страну. Своей неутомимой деятельностью Голицын разрушил этот стереотип. Именно в годы его управления страной на Русь буквально хлынул поток европейцев. К примеру, гугеноты и иезуиты получили здесь убежище от конфессиональных преследований у себя на родине. При князе расцвела Немецкая слобода в Москве, где селились иностранные военные, лекари, ремесленники, переводчики, художники и др.; заработали две первые ткацкие фабрики. Голицын посещал дома своих знакомцев там (задолго до Петра), выступил с программой свободного въезда иностранцев в страну, намеревался ввести в России свободное вероисповедание, убеждал бояр посылать своих детей на учёбу за границу. Московитам было разрешено приобретать за рубежом светские книги, предметы искусства, мебель, утварь, что сыграло заметную роль в культурной жизни общества.



Но более всего улучшению имиджа России способствовали труды Голицына на дипломатическом поприще, его официальные и частные контакты с иноземцами, приёмы многочисленных делегаций, направление посольств в главные европейские державы – Париж, Мадрид, Лондон, Берлин, Копенгаген, Стокгольм, Варшаву. В апреле 1686 года был заключён долго-

жданный «вечный мир» с Речью Посполитой, по которому последняя отказалась от всей Малороссии с Киевом, Черниговом и другими пятьюдесятью пятью городами – в результате Московское государство вступила в «концерт» европейских стран. Умело вёл князь и переговоры со Швецией, продлив действие Кардисского мирного договора 1661 года, и переговоры с китайцами, увенчавшиеся ратификацией Нерчинского договора 1689 года, установившего границу с Поднебесной по реке Амур и открывшего России путь к Тихому океану. В основном именно из-за этих успехов и прозвали Голицына Великим.

Дипломатические встречи и церемонии поражали гостей блеском и роскошью, продуманно демонстрировали им богатство и мощь России. В отличие от Петра, Голицын не заставлял иностранцев пить на приёмах, да и сам не пил водки, находил удовольствие в беседах.

Князь стоял у истоков многих петровских нововведений в области моды. К ним относится ношение россиянами европейского платья, которое нельзя назвать новацией Петра I: уже царь Фёдор Алексеевич под непосредственным влиянием своей жены Агафьи Грушецкой и Голицына заменил стародавние долгополые московитские одежды польским и венгерским платьем. Все государственные чиновники должны были носить его и в старомосковском одеянии в Кремль и царский дворец не допускались. Рекомендовано было также брить бороды. Заметим – не приказано, как это сделал впоследствии Петр, а всего лишь рекомендовано, следовательно, не носило обязательного характера, а потому не вызывало особых протестов и смут. «На Москве стали волосы стричь, бороды брить, сабли и польские кунтуши носить», – говорили современники. И одним из первых при дворе в польское платье облачился Голицын. Вот как описал его внешность Алексей Н. Толстой в романе «Пётр Первый»: «Князь Василий Васильевич Голицын – писанный красавец, кудрявая бородка с проплешинкой, вздёрнутые усы, стрижен коротко, – по-польски, в польском кунтуше и в мягких сапожках на крутых каблуках... Синие глаза блестели возбуждённо».

Князь определенно был модником того времени. Он тщательно следил за собственной внешностью и прибегал к таким косметическим средствам, употребление которых мужчинам кажется смешным – белился, румянился, холил разными специями свою небольшую светлую бороду и усы, остриженные по самой последней моде. Его часто можно было видеть в атласном бирюзового цвета кафтане на соболях, расшитом золотом и усыпанным жемчугом и драгоценными камнями. Гардероб князя был одним из самых богатых в Москве, включал в себя более ста костюмов из драгоценных тканей, украшенных алмазами, рубинами, изумрудами, закатанных золотым и серебряным шитьём. Его боярская шапка из редкого «красного» соболя стоила более десяти тысяч червонцев.

Поместительный каменный дом Голицына, расположенный в Белом городе древней столицы между Тверской улицей и Дмитровкой, иностранцы называли «восьмым чудом света», ибо он не уступал своим убранством лучшим дворцам Европы. Достаточно сказать, что длина здания составляла тридцать три сажени (более семидесяти метров), в нём было не менее двухсот дверей и оконных затворов. Рядом находился домовый храм Голицына, а во дворе стояли кареты, изготовленные в Польше, Голландии, Австрии и Германии.

В главной зале вместе с иконами висели портреты европейских и отечественных правителей, а также картины и гравюры на темы Священного писания. Потолки были украшены изображениями астрономических тел, планет, солнца, знаков зодиака. Стены палат были обиты богатыми тканями и фабричными обоями, похожими на мрамор. Дом наполняла иностранная мебель: кровать с «птичьими ногами» (подарок Софьи), множество шкафов, буфетов, сундуков; клавикорды, а также термометр, барометр и диковинный ящик-«аптека, а в нём всякое лекарство». Всё это отражалось в семидесяти пяти зеркалах. Некоторые окна были украшены витражами. В доме имелись ковры из Персии, фарфор из Венеции, гравюры и часы из Германии. Крыша дома была медная и горела на солнце, как золотая. Любитель изящного, Голицын нередко устраивал здесь театральные действия, а иногда и сам выступал в роли актёра. Хлебо-

сольный хозяин, он щедро принимал в своём доме иноземцев, коих закидывал вопросами о современной политической жизни Европы.

Палаты и храм Голицына были варварски снесены в 1928 году – несмотря на то, что общественность во главе с академиком Игорем Грабарём выступила в журнале “Строительство Москвы” в их защиту, – а на их месте в 1932–1935 годах вырос бездарный Дом Советов труда и обороны, спроектированный Александром Лангманом.

К концу 80-х годов XVII века князь Голицын получил в дар вотчину в подмосковном Медведково с домом и каменной церковью Покрова Пресвятой Богородицы. Ранее этой вотчиной владел легендарный князь Дмитрий Пожарский, который во времена Смуты возглавил борьбу россиян с польскими интервентами. Подарив бывшее его владение Голицыну, Софья как бы сделала последнего преемником прославленного героя. Чтобы утвердить себя полноправным владельцем Медведково, князь Василий заказал несколько новых колоколов со специальными надписями. Он также перестроил и благоустроил доставшийся ему дом в европейском вкусе.

Голицын не только заимствовал внешние атрибуты западной культуры (одежда, предметы быта), как это стали делать впоследствии щёголи-петиметры с их откровенной галломанией. (Голицын как раз был одним из первых русских галломанов, и его упрекали, что даже сердце у него французское). Он проникал в глубинные пласты французской – и шире – европейской цивилизации. Собрал одну из богатейших для своего времени библиотек, отличавшуюся разнообразием изданий на русском, французском, польском, латинском и немецком языках. В ней можно было найти «Киевский летописец» и «Алкоран», сочинения античных и европейских авторов, всевозможные грамматики, труды по истории и географии, а также некую переводную рукопись «О гражданском житии, или о поправлении всех дел, еже принадлежат обще народу». Большинство книг в его библиотеке были светского содержания.

Обладая широким кругозором и просвещённым умом, не боясь обращаться к «поганым» иноземным докторам и вообще к басурманам (от чего категорически предостерегала тогда православная церковь, в частности, патриарх Иоаким), князь, однако, не мог освободиться от свойственной эпохе суеверности. Как-то сопровождавший его дворянин Бунаков в приступе падуцей болезни взял горсть земли и завязал в платок. Голицын, заподозрив в Бунакове чародея, подумал, что тот якобы «вынимал след для его порчи», и повелел подвергнуть его пытке. Также при деятельном участии князя были сожжены заживо за ересь лжепророк из Немецкой слободы Квирин Кульман и единомышленник последнего Конрад Нордерман. Впоследствии апологеты Петра обвиняли Голицына в том, что он верил в колдовство и ведовство – хотя и сам Пётр в 1716 году включил в новый военный устав направленные против колдунов карательные меры.

В 1687 и 1689 годах Голицыну пришлось возглавлять два похода российской армии в Крым. Понимая всю сложность намеченного предприятия, он стремился уклониться от обязанностей главнокомандующего, но его недоброжелатели настояли на назначении. Их усилия увенчались успехом: обе крымские кампании оказались неудачными. Они не решили главной задачи – обеспечить выход России к Черному морю, – были сопряжены с огромными людскими потерями, подорвали репутацию князя и, как заключили некоторые, лишили его Софьиных ласк: новым фаворитом царевны стал Фёдор Шакло-витый, кстати, выдвигенец того же Голицына. Скорее всего, однако, увлечение царевны Шакловитым не было связано с военными неудачами князя: царевна всегда встречала его войска как триумфаторов, щедро их награждала и никогда не признавала за ними поражения. Она даже присвоила Голицыну – впервые в российской истории – звание генералиссимуса.

Его падение явилось неизбежным следствием низвержения Софьи Алексеевны, заключённой сводным братом в Новодевичий монастырь. Хотя Василий Васильевич не принимал участия ни в борьбе за власть, которая вела царевна, ни в заговорах против Петра, ни в стрельческих бунтах, такой исход был предreshён. По воле нового царя, в сентябре 1689 года Голи-

цыну был вынесен приговор: его вина была в том, что докладывал дела державы царевне, а не Петру и Ивану, писал от их имени грамоты и печатал, словно монархини, имя Софьи в книгах без царского соизволения. Но главным пунктом обвинения были неудачные крымские походы князя, в результате которых казна понесла великие убытки. Последнее из обвинений носило тенденциозный характер: немилость царя за крымские поражения пала на одного Голицына, в то время как другой активный участник этих походов, гетман Иван Мазепа, был обласкан царём. Кроме того, известно, что ни сам Пётр, ни его преемники так и не покорили Крыма – в состав Российской империи он был включён только в 1783 году.

И всё-таки незаурядность князя Василия была видна всем. Возможно, ее признавал и Пётр, который, несмотря на жгучую неприязнь к поверженному врагу, всё же не предал его жестокой казни, как других клеветов Софьи. Не исключено также, что князя спасло и заступничество его двоюродного брата, Бориса Голицына, ревностного сподвижника царя. Хотя князь Василий был лишён боярства и имущества, ему была сохранена жизнь – он был сослан с семьёй на Север: сначала в Каргополь, а затем в ещё более отдалённое село – Холмогоры Пинежского уезда. В ссылке в крайней бедности Голицын прожил долгие четверть века и скончался в апреле 1714 года. Он похоронен в Красногорско-Богородицком мужском монастыре.

Голицынская Русь была чревата реформами. Роды, однако, затянулись, и нетерпеливый «царь-плотник» применил для «кесарева сечения» топор. Петровские реформы во многом стали воплощением планов и идей «Василия Великого», но воплощением грубым, стремительным. В результате подобной петровской «перестройки» в землю лёг каждый пятый россиянин – население империи сократилось с двадцати пяти до двадцати миллионов человек!

Говорят, история не имеет сослагательного наклонения. Однако многие историки впоследствии оценили планы Василия Голицына как гуманную альтернативу реформам Петра. Действительно, кто знает, окажись на месте «крутого» монарха «осторожный» Голицын, может быть, судьбы истории российской не были бы столь надрывными и кровавыми. Бешеный гений Петра вздёрнул Россию «на дыбы», не гнушаясь при этом кнутом и дыбой. Реформы же Голицына были мирными, органичными и ненасильственными. Как сказал о нем один дипломат: «Он хотел заселить пустыни, обогатить нищих, из дикарей сделать людей, превратить трусов в добрых солдат, хижины в чертоги». И уже одна попытка претворить это желание в действительность оправдывает наречение Голицына именем Великий.

Ментор для русского царя. Франц Лефорт

Имя швейцарского россиянина Франца Якоба (Франца Яковлевича) Лефорта (1656–1699) увековечено разное. Его носит улица Женевы, родного города Лефорта, на которой как будто в память о его второй родине стоит православная церковь. Существует московский район Лефортово, расположенный на месте бывшей Немецкой слободы. Есть там и Лефортовская тюрьма для государственных преступников, – это, впрочем, совершенно не вяжется с жизнью и характером друга и наставника Петра I.

Около постели больного Лефорта сутками напролет играли музыканты, чтобы отвлечь его от нестерпимых страданий. Болезнь прогрессировала день ото дня, и большую часть времени несчастный проводил в бреду. Незадолго до его кончины к ложу подошел пастор, предложил обратиться к Богу, на что умирающий ответил: “Не говорите так много”.

Дело в том, что с Всевышним у него, “служилого иноземца” и кальвиниста Франца Лефорта, были свои, особые отношения. “Прошу вас верить, – писал Франц брату из Архангельска 4 июля 1694 года, – что благодать Бога со мною, и хотя я неоднократно оскорблял Его, но она неисчерпаема, и я употребляю всевозможные усилия никогда не забывать Его благодеяний... Преднамеренно я не сделаю ничего предосудительного в такое время, когда Бог ниспослал на меня свои милости, и когда честь требует твердо пребывать в благодати Божией. Никто и никогда не достигал подобных милостей и ни один иноземец не мечтал о них. Сознаюсь, все эти милости необычайны; я не заслужил их; я не воображал в столь короткое время составить мое счастье, но так было угодно Богу”.



О каких же необычайных для иноземца “милостях” идет здесь речь?

Выходец из богатой, бывшей в родстве со знатными родами швейцарской купеческой семьи, Франц Якоб до 14 лет учился в женеvском коллегииуме. Он с детства был одержим неукротимой страстью к военному делу, а потому, когда отец отправил его в Марсель учиться коммерции, вступил во французскую армию и несколько месяцев прослужил в ней кадетом. Затем состоялось его знакомство с курляндским принцем Фридрихом-Казимиром, имевшее значение не только для дальнейшей военной службы Лефорта (он воевал уже в составе нидерландской армии – против французов), но и для его светского воспитания, формирования утонченного вкуса: принц окружил себя роскошью, сорил деньгами (ему пришлось заложить даже несколько имений), имел блистательную свиту, любил танцы, музыку, французский театр и итальянскую оперу. Все это полюбил и Франц Якоб.

Его можно было бы назвать “солдатом удачи”, циничным продавцом своей шпаги, готовым служить тому правителю, который больше заплатит. Однако все изменилось после того, как в сентябре 1675 года “по воле рока” Лефорт был заброшен в Россию: в ней он обрел вторую родину. Ами Лефорт отметил позднее в “Записках”: “В беседах своих он представлял картину России, вовсе не согласную с описанием путешественников. Он старался распространить выгодное понятие об этой стране, утверждая, что там можно составить хорошую карьеру и возвыситься военной службою. По этой причине он пытался уговорить своих родственников и друзей отправиться с ним в Россию”.

Впрочем, встреча Лефорта с Московией была не вполне дружелюбной. Бояре, производившие отбор иноземцев в армию, предложили ему попросту убираться восвояси – несмотря на отменную выправку, богатырский рост и приличный послужной список! Лефорт не послушался, остался – и обосновался в Москве, в Немецкой слободе, где с 1652 года селились иностранцы. Служить нелегальный иммигрант нигде не мог, однако скоро дела его устроились, он дерзко похитил красивую и богатую Елизавету Сугэ, дочь генерала Франца Буктовена, и родня девушки быстро согласилась на брак: Лефорта уважали именитые жители слободы. По счастливому стечению обстоятельств, новобрачная приходилась кузиной первой жене известного генерала на русской службе Патрика Леопольда (Петра Ивановича) Гордона. Благодаря влиянию последнего Лефорт в 1678 году и поступил в российскую армию – в чине капитана, под начало того же Гордона.

Свои воинские качества он проявил в сражениях с турками и крымскими татарами, особенно же отличился в Чигиринских походах 1687–1689 гг. Во времена Регенства царевны Софьи Алексеевны Лефорт заручился покровительством князя Василия Голицына, при котором получает чин полковника. В 1689 году, когда тридцатидвухлетняя регентша и семнадцатилетний Петр решили окончательно выяснить отношения, Лефорт сделал правильный выбор, приехал к юному царю в Троице-Сергиеву лавру и поддержал его. Фортуна после этого стала особенно благоволять ему, начался стремительный карьерный рост: в 1690 году Лефорт был произведен в генерал-майоры; в 1691 – в генерал-лейтенанты; в 1696 – в адмиралы.

Впрочем, браvый воин руководствовался не только карьеристскими соображениями. Это отмечено в романе Алексея Николаевича Толстого “Петр Первый”. Лефорт, обращаясь к царю, выражается здесь следующим образом: “...Тебе отдаю шпагу мою и жизнь... Нужны тебе верные и умные люди, Петер... Не торопись, жди, – мы найдем новых людей, таких, кто за дело, за твое слово, в огонь пойдут, отца, мать не пожалеют...”.

Если рассматривать служение Лефорта в категориях архетипических моделей культуры (Юрий Лотман), то его мотивы вполне укладываются в формулу “вручение себя”. Вручая себя и свою жизнь новому патрону, Лефорт вел себя вовсе не как “солдат удачи”: не оговаривал для себя условий, характерных для отношений обмена и договора, не требовал никаких льгот, кроме права бескорыстно и самозабвенно отдавать себя во благо страны пребывания. Иноземное происхождение Лефорта способствовало его карьере, поскольку Петру нужны были этно-

культурно не отягощенные подданные, те, кто лучше или полезнее служил российскому государству.

Можно без преувеличения сказать, что встреча Петра I и Лефорта была для каждого из них важнейшим событием в жизни. Когда она случилась? Если следовать логике мемуариста Франца (Никиты) Вильбуа, они познакомились непосредственно после первого стрелецкого бунта 1682 года. Это Лефорт “под предлогом развлечения царя невинными играми собрал вокруг молодого государя иностранных офицеров в количестве достаточном, чтобы создать роту... Рота эта выросла до батальона, потом до двух, трех и четырех... В течение семи или восьми лет эти войска, созданные по иностранному образцу, выросли до 12 тысяч человек”.

По другим данным, Лефорт стал известен юному царю в 1687 году, когда он пригласил женева обучать иностранному строю два своих полка – Преображенский и Семеновский. Есть исследователи, которые утверждают, что Петр познакомился с уроженцем Женевы на дипломатическом приеме, а сблизился не ранее августа 1689 года, когда последний заявил о своей приверженности царю. Достоверно известно, что Петр впервые посетил дом Лефорта в Немецкой слободе лишь 3 сентября 1690 года. К началу же 1691 года Лефорт уже считался фаворитом Петра.

Влияние Лефорта на Петра I было всеобъемлющим и глубоким – по словам Федора Достоевского, “женевец Лефорт воспитал его”. Историк Сергей Соловьев написал позднее: “Лефорт умел сделаться неразлучным товарищем, другом молодого государя... Лефорт возбуждал Петра предпринять поход на Азов, уговорил ехать за границу; по его внушению царь позволил иностранцам свободный въезд и выезд. Очевидно, что Петр, как преобразователь в известном направлении, окончательно определился в тот период времени, к которому, бесспорно, относится близкая связь его с Лефортом...”. Добавим к этому, что Лефорт подсказал Петру идею о строительстве новой столицы на Балтике.

Единственный из приближенных царя Франц отказался участвовать в казни мятежных стрельцов. Несмотря на веские основания для ненависти к ним: ведь главари мятежников (Овсей Ржов, Тума, Зорин, Ерш и др.) во всех неудачах (в том числе и военных) винули “еретика Франчишку Лефорта”, “умышлением” которого якобы “всему народу чинится наглость, брадобритие и курение табаку во всеосвершенное ниспровержение древнего благочестия”. Лефорт же, по словам А. С. Пушкина, “старался укротить рассвирепевшего царя. Многие стрельцы были спасены его ходатайством и разосланы в Сибирь, Астрахань, Азов и проч.”.

Он удержал Петра от жестокой расправы над царевной Софьей – благодаря швейцарцу не казненной, а сосланной в Новодевичий монастырь. Главное же, Лефорт был, прежде всего, другом Петра. Отношения “слуга” – “господин” были не для них! Какой “господин” будет плакать, как ребенок, когда “слуга” лишь ненадолго расстанется с ним!? А Петр плакал.

Даже чисто внешне этот иноземец обаял Петра: ходил во французском или немецком платье “с иголочки”, все по последней моде, пальцы украшал кольцами, а шею – ожерельями, был искушен в европейском этикете, говорил на шести языках (на немецком, голландском, французском, английском, латинском, да и русском – на последнем, правда, писал “по-слободски”, то есть латинскими буквами). Говорил, потряхивая кудрями своего длинного, до пояса, пышно завитого парика, который так и называли “знаменитый лефортовский парик”. Неспорно говорили о Лефорте – “герой мод и кутежей”. Прибавим к этому веселый нрав, общительность, неиссякаемую энергию в осуществлении любой новации. Словом, душа-человек!

Вот что говорил о Лефорте биограф Георг фон Гельбиг: “Он обладал обширным и очень образованным умом, пронизательностью, присутствием духа, невероятной ловкостью в выборе лиц, ему нужных, и необыкновенным знанием могущества и слабости главнейших частей российского государства... В основе его характера лежали твердость, непоколебимое мужество и честность. По своему же образу жизни он был человеком распутным...”. “Помянутый

Лефорт, – вторит ему князь Борис Куракин, – был человек забавный и роскошный или назвать, дебошан французский. И непрестанно давал у себя в доме обеды, супе, балы”.

Франца не случайно называли также “министром пиров и увеселений”. Именно он ввел царя в Немецкую слободу – этот “островок Западной Европы” в тогда еще домостроевской Московии, где бурлила жизнь, господствовали более свободные нравы, царил незнакомый, но такой пленительный европейский быт. Петр нашел здесь полную непринужденность общения, противоположную московитской чопорности. Широкий разгул, пляски, необузданное безобразное пьянство иногда продолжались в течение нескольких дней. В этих вакханалиях участвовали и женщины, придавая кутежам особую живость. Вместе с иноземцами в доме Лефорта пировали не только Петр, но и бояре (Борис Голицын, Лев Нарышкин, Петр Шереметев и другие). Царь обращался со всеми запросто, но иногда неосторожно сказанное слово приводило его в бешенство, особенно когда природная горячность Петра усиливалась выпитыми горячительными напитками. В эти минуты все умолкали со страху, и только Лефорт (а впоследствии и вторая жена царя Екатерина Алексеевна) мог успокоить и развеселить монарха. Добродушный великан с изысканными манерами и мягким юмором, страстный поклонник слабого пола, Франц был незаменим в веселой компании.

Он познакомил царя с дамским обществом Немецкой слободы и стал его поверенным в сердечных делах; как говорит об этом современник, Лефорт “пришел... в конфиденцию интриг амурных”. Это он познакомил Петра со своей бывшей наложницей, дочерью местного виноградовца Иоганна Монса, Анной, роман с которой продолжался у царя более десяти лет. Все эти годы монарх был одержим сильной страстью к своей “Аннушке” – и этим он был обязан своему наставнику. Лефорт, к счастью, не дождался измены Анны своему августейшему любовнику. Впрочем, к изменам самого Петра он относился легко – кто-кто, а он-то знал, сколь женолюбив и неразборчив в связях был царь. И дело не только в его постоянных шашнях с девками. Достаточно сказать, что одновременно с Анной Монс Петр имел отношения и с ее подругой, Еленой Фадемрех. Не с подачи ли Франца Якоба? Не сам ли Лефорт виновен в любвеобильности, точнее, распушенности Петра? Как сказали о нем, “был он, как лист хмеля в темном пиве Петровых страстей”. И все-таки в одном Лефорт отличался от самодержца – он не был злопамятным и мстительным в любви. Петр же не прощал измены даже бывшим фавориткам (в том числе и тем, которых оставил). Кстати, именно швейцарец спас постылую жену царя от неминуемой смерти, о чем пишет Георг фон Гельбиг: “Лефорт не допустил, чтобы Петр, обуреваемый юношеской опрометчивостью, дозволил убить ее. Разумные основания, приведенные Лефортом ради укрепления славы Петра против этого намеренья, пустили в сердце этого государя столь глубокие корни, что их не могли вполне уничтожить никакие старания могущественнейших врагов Авдотьи”.

Исследовательница Екатерина Рыбас определила Франца Якоба как “старого сутенера из Женева” (это в 35-то лет! – Л.Б.), который мечтал привить царю вкус к “секс-бизнесу” и завести в России “огромную сеть государственных борделей”, над которыми он, Лефорт, был бы полновластным хозяином. Более того, согласно утверждениям того же автора, сама “куртизанка” Анна Монс “вывезена им [Лефортом – Л.Б.] из женева борделя” и затем пожертвована Петру. Подтвердить или опровергнуть эти слова затруднительно. Ясно только, что, несмотря на долгую семейную жизнь (жена рожала 11 раз!), Франц Якоб остается “либертенном”, как называют его англоязычные энциклопедии. Об отношениях Петра I и Анны Монс мы расскажем позднее. Отметим лишь, что Лефорт использовал все свое влияние и авторитет, чтобы покровительствовать семейству Монс, которому было суждено сыграть столь роковую роль в российской истории.

Царь настолько привык к празднествам у Франца Якоба, что, будучи сам противником роскоши, делает его дом представительским. Зимой 1692 года по распоряжению Петра I к жилищу Лефорта начинают пристраивать новую залу, способную вместить 1500 человек. Здесь

же стали принимать и иностранных послов. Дом Лефорта стал напоминать дворец какого-нибудь сиятельного вельможи – он был окружен парком, где даже содержались дикие звери.

О Лефорте говорили: “Его кошелек и жизнь всегда в распоряжении царя”. Получая немалое жалование, он в то же время никогда не скупился на поистине царские приемы. Потому он не только не сделал никаких сбережений, но даже не всегда высылал деньги своему нуждающемуся брату. Франц говорил о наследстве, точнее, об отсутствии наследства для своего сына: “Я искал своего счастья; пусть и сын поищет своего... Я постараюсь научить его всему, что пригодится в жизни, а там пусть сам позаботится о себе”.

Под влиянием уроженца Женевы Петр пристрастился к иноземному военному платью. Общеизвестно, что и гражданская европейская одежда была представлена Петру именно Лефортом. Лефорт же внушил Петру мысль, что отсталая Русь просто обязана перенимать опыт и мудрость у просвещенного и цивилизованного Запада. До поры до времени эти “еретические” взгляды царь не афишировал – слишком сильны были еще ревнители старомосковской партии. Только в марте 1690 года поставщиком Лефортом было “сделано немецкое платье в хоромы к нему, великому государю, царю и великому князю Петру Алексеевичу”: камзол, чулки, башмаки, шпага на шитой перевязи и парик. Однако носить свое иноземное платье Петр решается пока только среди иноземцев, а именно в той же Немецкой слободе, где, впрочем, бывает довольно часто. И – вновь воздействие старшего друга: в 1691 году он, подобно Лефорту, нередко появляется там во французском платье. Правда, одеяние монарха не отличалось собственным Лефорту щегольством и не было усыпано драгоценными камнями.

Царь-труженик, владевший 14 ремеслами, Петр так и не стал щеголем. Это качество ему не смог привить “роскошный” швейцарец. Монарх был предельно экономен и бережлив в личных расходах, часто носил простое суконное платье, рубашку без манжет и парик без пудры; при этом одевался небрежно и неаккуратно; мог появиться на людях в штопаных чулках и стоптанных ботинках. На протяжении многих лет царь демонстративно получал жалование от казны, которое ему за вполне реальные заслуги платил князь-кесарь Федор Ромодановский. И это была сознательная позиция монарха, подчеркивающая, что роскошествовать царю не пристало.

Азовский поход, предпринятый в 1695 году по предложению Лефорта, был фактически провален. Причины тому – отсутствие военных кораблей, а также несогласованность и многовластие среди генералитета русской армии (ее командовали Петр Гордон, Франц Лефорт и Федор Головин). Недовольство в народе против иноземцев (и прежде всего против Лефорта), которым приписывали неудачи, было очень велико.

Но в мае 1696 года Доном к Азову двинулось новое петровское войско – 30 морских судов и 1000 барок для перевозки грузов. Им командовал Лефорт, которому тогда впервые в России был пожалован чин адмирала. Почему же он, уроженец самого сухопутного государства Европы, сделался вдруг по воле Петра российским адмиралом? Современный историк Ольга Дроздова пояснила: “Для ответа нужно представить, кем и чем был для него Лефорт. Это был человек, который открыл для него новый мир. Лефорт кое-что повидал на своем веку, а больше всего создавал впечатление бывалого человека. Таким он выглядел не только в глазах Петра. Флот начинался прежде всего с разговоров о нем с иноземцами, из которых ближайшим другом царя был Лефорт”. Осада Азова была полной, ибо флот Лефорта не допускал к крепости турецких кораблей. 18 июля Азов, наконец, капитулировал.

Царь высоко ценил заслуги своего адмирала. “Когда б у меня не было друга моего Лефорта, то не видать бы мне того так скоро, что вижу ныне в моих войсках. Он начал, а мы довершили” – говорил он впоследствии. Франц Якоб был осыпан царскими милостями – в частности, он был назначен новгородским наместником.

Именно Лефорт, познакомивший Петра с бытовой жизнью Немецкой слободы, заронил в молодом царе желание видеть европейские “политизированные” государства. И вот 9 марта

1697 года из Москвы отправилось посольство. Инкогнито, под именем урядника Преображенского полка Петра Михайлова, ехал в свите посольства и русский царь. Сам по себе этот феномен был новым не только для России, где монархи никогда ни в какие заграничные поездки не помышляли, но и для Европы, где правители тоже, как правило, сидели дома. И “главной особью” российской дипмиссии был Франц Якоб Лефорт, сопровождаемый тайным советником Федором Головиным, статским секретарем (думным дьяком) Прокопием Возницыным, а также 4-мя секретарями, 40 “господскими детьми” знатных родов, 70-ю выборными солдатами гвардии с их офицерами (всего 270 человек).

Ранг Великого посольства означал широкие полномочия послов, особую пышность посольской свиты, представительность и богатство подарков. Внушительным был список стран и дворов, которые предстояло посетить послам: Лифляндия, Курляндия, Пруссия, Саксония, Голландия, Англия, Австрия и др.

Помимо задач дипломатических (поиск союзников в борьбе с Турцией за выход к Черному морю), посольство осуществляло наем на русскую службу иноземных специалистов. Только в Голландии было нанято 900 человек. И здесь неоспорима заслуга Лефорта. Обладавший даром убеждения, Франц со свойственной только ему широтой закатывал роскошные пиры, на коих уговаривал иноземцев ехать служить в далекую, но благодатную Московию. Кажется, одно уже это обстоятельство говорит об ошибочности расхожего мнения историков, что “два младших посла... вели собственно деловые отношения; роль же Лефорта свелась, главным образом, на представительство”. Конечно же, европеец Лефорт, будучи официальным лицом, при многих дворах представлял Россию, создавая о ней новое, выгодное впечатление. В ход шли и его старые связи, которые он использовал на благо своей новой родины. Кроме официальных аудиенций, он выступал с речами на торжественных собраниях, вел дипломатические переговоры о союзе против Турции и о польском престолонаследии, вел переписку с представителями европейских дворов.

Лефорт как первый посол был озабочен тем, чтобы “то великое, что ему доверено... благополучно доставить”. А “великой” была для Лефорта европейская цивилизация, которую он помогал “доставить”, то есть увидеть Петру I своими глазами, чтобы тот возбудил россиян к переменам. Таким образом, в действиях Лефорта явственно видна стратегия – внушить Петру мысль о необходимости европеизации России. Конечно, к этому прибавилось горячее желание самого монарха учиться у Запада: “Аз бо есмь в чину учимых и учащих мя требую”, – было вырезано на царской печати. Но все-таки в нетерпении, с каким импульсивный Петр сразу же по приезде из чужих краев стал резать бороды непохожим на европейцев боярам, есть и Лефорта лепта.

В повседневной жизни Лефорт носил немецкое, либо французское платье. Тем симптоматичнее, что для своего заграничного путешествия он, как и другие посланники, облачился в пышную, экзотическую для европейцев боярскую одежду. (Это тем более бросалось в глаза, что свита Франца была одета исключительно в европейское платье). Сохранилось описание торжественного въезда посольства в Голландию, где говорится, что три посла едут “в атласных белых шубах на соболях, с бриллиантовыми двуглавыми орлами на бобровых, как трубы, горлатных шапках; сидят, как истуканы, сверкая перстнями на пальцах и на концах тростей”.

Сохранился портрет Лефорта работы голландского художника Михиля ван Мюсхера, датированный 1698 годом. Франц Якоб гордо восседает в кресле в своем московском одеянии, правда, не в горлатной шапке, а в своем знаменитом парике. Однако есть основания полагать, что подобный наряд был надет им специально для позирования художнику – факты свидетельствуют о том, что именно с 1698 года послы стали носить по преимуществу европейское платье. Существует давняя традиция рассматривать воздействие Лефорта на царя как исключительно благотворное и продуктивное для России. В книге: “Анекдоты о Петре Великом” (1748) Вольтер пытался объяснить европейцам, каким образом дикая отсталая страна Россия преврати-

лась в мощную мировую державу, победившую сильную шведскую армию. Создав вымышленный образ допетровской Московии, а также образ русского царя-дикаря, Вольтер прибегнул к весьма экзотическому приему – на авансцену был выведен герой-наставник, просвещенный европеец Лефорт. Вольтер писал: “Без этого женева Россия и сейчас, видимо, была бы варварской”. Получалось, что только благодаря воздействию Лефорта на Петра последний превратился в “Прометея, отправившегося за границу за небесным светом, который мог бы оживить подданных”.

Как отметил Николай Копанев, “прямым литературным прототипом отношений Петра с Лефортом в изложении Вольтера были отношения Телемака и Ментора (Наставника) в знаменитом детском романе Фенелона “Приключения Телемака”. Роль Лефорта как благодетеля России явственно просматривается и в книге Вольтера: “Истории Российской империи при Петре Великом” (1758).

Показательно, что цивилизаторская миссия Лефорта в “варварской” стране столь же гиперболизирована европейцем Вольтером, сколь недооцененным при этом остался высокий культурный уровень Московской Руси. То, в чем Вольтер видел скачок в развитии, на самом деле являлось преемственностью жизненных форм. Реформа Петра во многом была завещана XVIII столетию концом XVII века. Как об этом сказал Лев Гумилев, “все петровские реформы были, по существу, логическим продолжением реформаторской деятельности его предшественников”.

В связи с насильственной европеизацией России Петром все чаще и в те времена, да и теперь раздавались голоса об опасности забвения русских традиций. И эта точка зрения бытовала не только среди адептов старины, архаистов и славянофилов. Николай Добролюбов в статье “Первые годы царствования Петра Великого” (1858) писал, что Лефорт о русских обычаях говорил с презрением, тогда как все европейское чрезвычайно возвышал, и молодой монарх захотел превратить Россию в Голландию.

Возможно, наиболее категорично мысль о некоем вредоносном начале, исходившем от Лефорта, была выражена в 1950-х годах эмигрантским историком и публицистом Михаилом Поморцевым (Борисом Башиловым), который заявил, что швейцарец и другие приезжие иностранцы, имевшие огромное влияние на царя, употребили его во зло: внушили Петру “ненависть ко всему родному и к самому русскому народу”. Подобное суждение кажется нам предвзятым. В этой связи уместно привести слова знатока Петровской эпохи Николая Костомарова: “Лефорт, знакомя Петра с культурным ходом европейской жизни, отнюдь не старался своим влиянием выводить вперед иностранцев перед русскими; напротив, советовал Петру приближать к себе русских, возвышать их...”

По инициативе Петра в 1698 году на берегу Яузы для Лефорта был построен роскошный дворец под руководством мастера каменных дел Дмитрия Аксамитова. Он являл собой великолепное сооружение с крышами, украшенными резными гребнями. Зал дворца высотой 10 метров и площадью 300 квадратных метров, обитый шпалерами и английским красным сукном, был украшен портретом Петра, картинами и множеством зеркал.



Новоселье состоялось во дворце 12 февраля 1699 года, а совсем скоро, 2 марта, хозяин его скончался в возрасте сорока четырех неполных лет. Согласно диагнозу врачей, причиной смерти были “жестокая болезнь в голове и в боку и от растворившихся старых ран”, а также “гнилая горячка”.

Известно, что Петр I был суеверен и заказывал себе гороскопы. И современные астрологи не обошли вниманием личности Петра и Лефорта. Поразительно, что в одном из гороскопов раскрывается совместимость двух наших друзей! “Петр I тяжело переживает смерть его лучшего друга, советчика и учителя Ф. Лефорта”, – говорится там о взаимности знаков Близнецы (Петр I) и Козерог (Лефорт). Их отношениям дается следующая характеристика: “Одновременно сложное, противоречивое и продуктивное сочетание. Магическая пара. Она может долго существовать только тогда, когда партнеров объединяет совместное дело, либо при духовном родстве людей... Близнецам импонирует ум партнера, то, как он целеустремленно реализует себя в жизни. Близнецы понимают стремление Козерога к успеху...”. Что ж, налицо и общее дело, и целеустремленность, и духовная близость, связующие Петра и Лефорта – и все это для успеха реформ и процветания России. Не сами ли звезды свели эту Магическую пару? Верно и утверждение о скорби Петра I по поводу утраты своего кармического напарника. Астрологи, правда, не учли только одного – о сохранении, а точнее, о появлении новой Магической пары позаботился один из ее участников, Лефорт.

Именно он подобрал на улице мальчика-пирожника, сына конюха Алексашку Меншикова и познакомил его с царем. Петр дал Алексашке официальный придворный титул спальника, а затем и денщика. Франц Якоб тогда сказал, что он “может быть с пользой употреблен в лучшей должности”. В этом мальчугане с его живостью ума, жадностью к новизне и верности монарху Лефорт, казалось, провидел будущего первого соратника и правую руку Петра, фельдмаршала и светлейшего князя Меншикова.

Потому, когда Петр, оплакивая своего старшего друга, с горечью восклицал: “На кого теперь я могу положиться? Он один был верен мне”, царь еще не осознал вполне, что “мин херц” Меншиков уже занял свое место в его сердце. Ведь это он ночевал с ним в одной палатке во время Азовских походов, сопровождал в поездках по Европе, был неразлучен и в работе, и в попойках. Разумеется, Меншиков не был интеллигентным, грамотным и бескорыстным, как Лефорт. Зато так же был глубоко предан делу Петра, к тому же обладал ярким военным талантом, бесстрашием, недюжинными организаторскими способностями, феноменаль-

ной памятью. Со смертью Лефорта распалась старая Магическая пара. Но на ее месте рождалась новая – Петр I и Меншиков. И глубоко символично, что подаренный Лефорту дворец будет всего через несколько лет, в 1702 году, передан Петром I Меншикову.

Но все это будет позднее, а тогда, получив извещение о кончине друга, Петр 8 марта стремглав примчался в Москву. Состоялась погребальная процессия, во главе которой шел сам царь, одетый в глубокий траур. За ним под похоронную музыку шествовали Преображенский, Семеновский и Лефортовский полки. За полками степенно ехал рыцарь с обнаженным мечом, потом следовали два коня, богато убранные, и еще один, под черною попоною. Гроб несли 28 полковников; перед гробом шагали офицеры; на бархатных подушках они торжественно несли золотые шпоры, шпагу, пистолеты, трость и шлем. Далее следовали – все в траурном одеянии – иностранные послы, бояре, сановники. Позади шла вдова покойного в сопровождении 24 знатных дам.

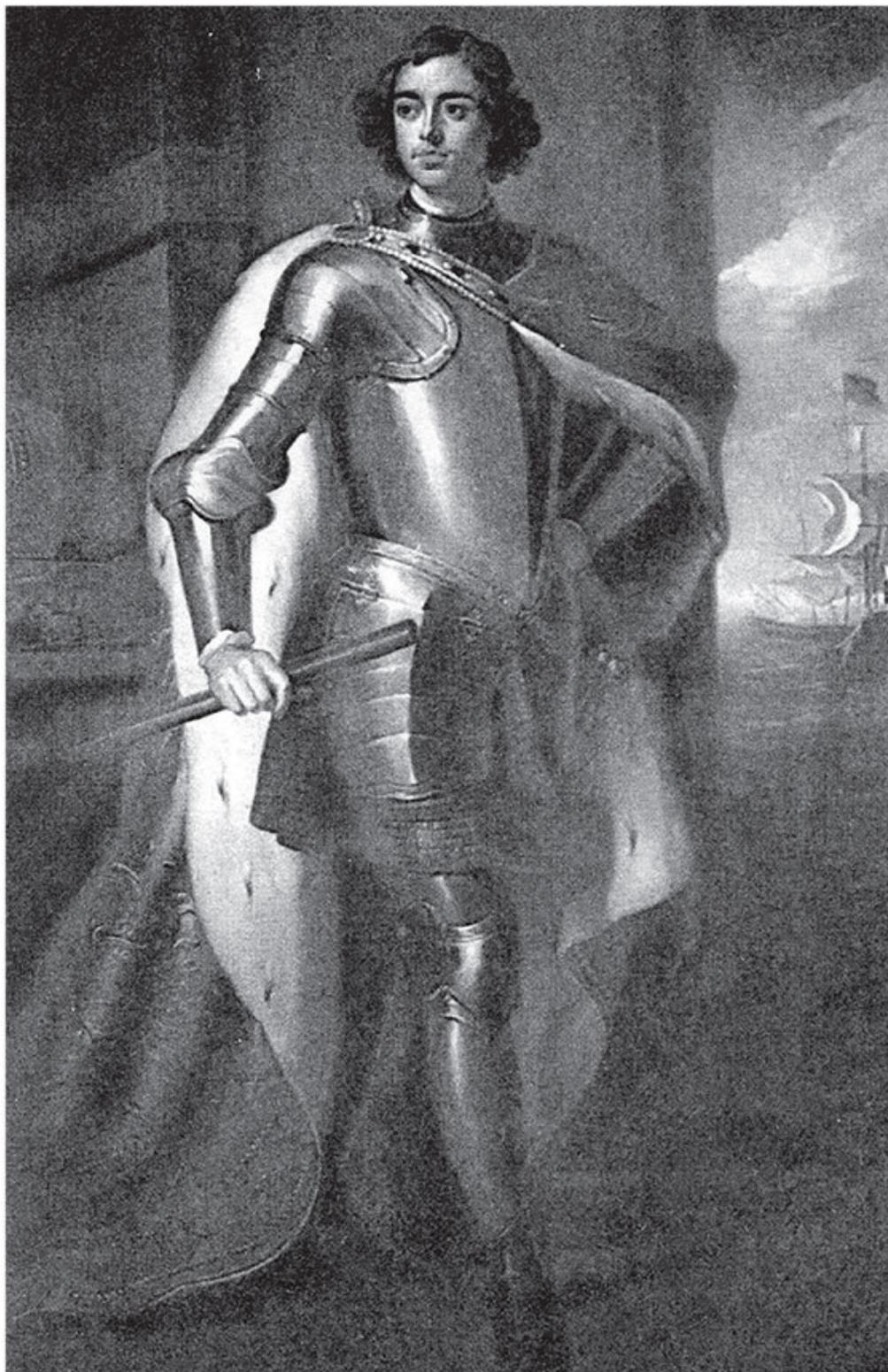
На мраморной надгробной доске Лефорта Петр распорядился вырезать слова: “На опасной высоте придворного счастья стоял непоколебимо”. О каком придворном счастье идет здесь речь? Общеизвестно, что царь игнорировал придворный церемониал, да и Двора в европейском понимании этого слова у него не было – никаких камергеров, пажей, гофмейстеров: всего несколько денщиков и гренадеров! И все-таки Франц был образцом придворного нового типа – не столько местного российского, а – шире! – европейского пошиба. Это был не только бесконечно преданный монарху умный товарищ и советчик, но и носитель изысканных манер, европейской куртуазности и политеса. Петр тем более ценил “политичность” Лефорта, что сам, трудясь над европеизацией России, был лишен европейского лоска в поведении, а в моменты бешенства и вовсе превращался в “русского дикаря”. Царь был демократичен в обращении, любил прямоту и вовсе не жаловал лицемерие и фальшь. Узок был круг “птенцов гнезда Петрова” (царь еще называл их “своей компанией”) – тем взыскательней относился к ним монарх. Высота их счастья была тем более “опасна”, что именно Петр, со свойственной ему пронизательностью, определял цену каждого из них. И Лефорт в этой когорте “непоколебимо” занимал одно из ведущих мест.

Но вернемся к Вольтеру, который сравнил дружбу Лефорта и Петра с отношениями Ментора и Телемака. Хотя в реальной жизни связи между царем и его адмиралом были намного сложнее (прежде всего, это было не одностороннее влияние, а взаимовлияние!), тем не менее образ Ментора-воспитателя, сопровождающего Телемака во всех его жизненных испытаниях и помогающего ему ценными советами, весьма созвучен характеру отношений Лефорта и Петра. Разумеется, с поправкой на то, что это был Ментор именно для русского Телемака.

Венценосный брадобрей. Пётр I

27 августа 1698 года во внешнем облике россиян произошла решительная, шокирующая многих перемена. Сам царь Пётр Алексеевич, только что вернувшийся из поездки в чужие края, вооружился ножницами и безжалостно отрезал у приглашённых к нему дворян и бояр привычные русские бороды. Причём венценосный брадобрей не ограничился только первой встряской – на следующий день бороды уже новых гостей кромсал царский шут.

Последовал и высочайший указ, согласно которому бриться надлежало всем, кроме крестьян и духовенства. А в случае, ежели кто расстаться с бородой не пожелает, можно откупиться, хотя пошлина была весьма чувствительная: для дворян она составляла 60 рублей, для купцов – 100 рублей, для прочих посадских людей – 30 рублей в год. Заплатив её, человек получал металлический бородовой знак, по центру которого значилось: “С бороды пошлина взята”, а по периметру помещалась надпись, совсем в духе петровской пропаганды: “Борода – лишняя тягота”. Облагалась пошлиной и крестьянская борода, но только при въезде в город и выезде из него – она составляла 2 деньги.



Пётр в 1798 году. С картины Г. Кнеллера

У городских застав дежурили специальные соглядатаи, которые бойко резали у прохожих бороды, а в случае сопротивления беспощадно вырывали их с корнем. Вскоре, по образному

выражению Николая Гоголя, “Русь превратилась на время в цирюльню, битком набитую народом; один сам подставлял свою бороду, другому насильно брили”.

Так, революционно и деспотически, Пётр I порывал с многовековой традицией, стремясь сделать россиян “сходственными на другие европейские народы”. Борода стала знаменем в борьбе двух сторон – реформистов во главе с царём и сторонников старорусской партии. Монарх стремился перевоспитать общество, внушить ему новую концепцию государственной власти. И брадобритие, как и другие культурные явления эпохи преобразований, было существенным элементом государственной политики. Царь, как отметил культуролог Виктор Живов, “требовал от своих подданных преодолеть себя, демонстративно отступить от обычаев отцов и дедов и принять европейские установления как обряды новой веры”.

Но, повсеместно насаждая бритьё бород, только ли на Европу ориентировался Пётр? Было ли ему известно, что восточные славяне до принятия христианства также брили бороду и усы – открытое лицо почиталось тогда ими признаком знатности. Сознал ли Пётр эту свою преемственность с язычниками-русичами? Можно сказать определённо – отец Петра, царь Алексей Михайлович, осознавал языческую природу брадобрития, причём именно на русской почве: в одной из грамот царя бритьё бород ставилось им в один ряд с кликаньем Коляды, Усеня и Плуга, распеванием “бесовских” песен, скоморошеством и другими языческими действиями. Однако какие-либо высказывания Петра по этому поводу не были слышны.

Если говорить о том, как непосредственно воспринимал это Пётр I, то борода ассоциировалась у него с ненавидимыми им стрельцами (чуть было не лишившими его жизни), а позднее с “опасным” окружением царевича Алексея. (Петру I приписывают слова: “Когда б не монахиня, не монах и не Кикин, Алексей бы не дерзнул на такое зло неслыханное. Ой, бородачи, многому злу корень – старцы да попы. Отец мой имел дело с одним бородачом [патриархом Никоном – Л.Б.], а я с тысячами”.

Пётр I прекрасно понимал, что предметы внешние действуют на внутреннее “благообразие” человека. А русский человек держался за бороду обеими руками, как будто она приросла у него к сердцу. Ведь в течение многих веков россияне видели в бороде признак достоинства мужчины, мерило своего православия, а также символ собственного церковного превосходства над “люторами” и прочими еретиками. В “еретических” же странах Запада, отмечал в своём очерке “Бороды и варвары” современный британский аналитик Сирил Норкот Паркинсон, гладко выбритое лицо всегда соотносилось с периодами расцвета; борода же появлялась во времена упадка и неопределённости. Она была тем покровом, под которым скрывают колебания и сомнения; а их в период с 1650–1850 гг. было довольно мало. Поэтому в западно-европейском обществе укоренились вполне определённые, в корне отличные от московских староверов, взгляды: “Борода заменяла мудрость, опыт, аргументацию, открытость. Людей в возрасте она наделяла престижем, который не подкрепляется ни достижениями, ни интеллектом. Она могла служить – и служила – прикрытием для всего показного, напыщенного, лживого, невежественного”.

Такое критическое восприятие бороды было органически чуждо её русским ревнителям. Впрочем, не только русским: Георгий, митрополит Киевский, повторял: “Стязание с Латиной [католиками]... бреют брады свои бритвой, что отступлением является от Закона Моисеева и Евангельского”. И действительно, согласно Торе, острижение бороды мужчины – позор. В книге “Левит” (гл. 19, ст. 27) читаем: “Не порти края бороды своей”. Известно также, что бороду носили Иисус Христос и апостолы, о чём говорил в своих евангельских беседах св. Иоанн Златоуст.

О необходимости бороды свидетельствовало и правило византийского богослова Никиты Скифита “О пострижении брады”. И в постановлениях Стоглавого Собора 1551 г. указано: “Творящий брадобритие ненавидим от Бога, создавшего нас по образу Своему. Аще кто бороду бреет и преставится тако – не достоин над ним пети, ни просфоры, ни свечи по нём в церковь

приносити, с неверными да причтётся». В Соборном Изложении прадеда Петра I, патриарха Филарета (Романова), в книге “Большой Требник” находим проклятие брадобрития как “псовидного безобразия”. Считалось также, что безбородость способствует содомскому греху.

Митрополит Макарий (председатель Стоглавого Собора) (1482–1563) называл бритьё бород не только “делом латинской ереси”, но и серьёзным грехом. В древнерусской церкви оно считалось хулой на Всевышнего, создавшего совершенного мужчину с бородой: бреющийся тем самым кошунствовал, поскольку выражал недовольство внешним обликом, который дал ему Творец; следовательно, он желал “поправить” Бога, что было, конечно же, недопустимо. Следующий брадобритию должен был быть отлучён от церковного общения.



«Царьчанинъ хочетъ раскольнику бороду стрижь». Лубок. 1770-е гг.

Староверы называли бритьё бород “еллинским блудническим гнусным обычаем”. В самом деле, древние греки, высоко ценившие молодость, живость, форму, первыми восстали

против повсеместного распространения бород. Показательно, что Александр Великий в дисциплинарном порядке велел всем македонцам брить бороды. Причину он выставил такую – во время боя противник может схватить тебя за бороду. Но истинный мотив был другой – древний вождь хотел тем самым подчеркнуть особый характер европейской цивилизации, которую он представлял. Вслед за Грецией бороду стали брить и в республиканском Риме. Как видно, русские поклонники бород нашли своих оппонентов не только среди католиков и протестантов, но и среди язычников, или “поганных”, как они их называли. Даже на саму бритву староверы смотрели как на орудие иноземного разврата и басурманского безбожия.

Резкость тона обличителей брадобрития имела под собой серьёзные основания, ибо во все времена находились отступники от стародавних церковных запретов. Одним из ранних нарушителей традиции стал великий князь Московский Василий III Иванович. Женившись в 47 лет на 18-летней княжне Елене Глинской, он вдруг совершает вызывающий поступок – сбривает бороду (оставляет лишь усы по польской моде). В ту эпоху это был дерзкий вызов и бытовым, и религиозным обычаям: ведь подобное действие приравнивалось к еретичеству, к посягательству на образ Божий в человеке, тем более что оно исходило от Божьего помазанника. Василий Иванович, вольно или невольно, стал насадителем новой моды в Москве – вслед за ним на улицах города появились щёголи, которые не только брили бороды, но и выщипывали себе волосы на лице. По словам филолога Николая Гудзия, их брадобритие “имело эротический привкус и стояло в связи с довольно распространённым пороком мужеложества”.

Один летописец того времени, стараясь (впрочем, неуклюже) оправдать Василия, пишет: “Царям подобает обновляться и украшаться всячески”. Историки связывают его брадобритие и с желанием угодить молодой капризной жене.

Во время правления Бориса Годунова (1552–1605) подражание иноземцам в бритье бород приобретает дальнейшее распространение. Сохранился портрет самого царя Бориса Фёдоровича в парадном одеянии и шапке Мономаха, но без бороды и усов. Николай Карамзин в “Истории государства Российского” отмечал, что Бориса упрекали, в частности, в “пристрастии к иноземным, новым обычаям (из коих брадобритие особенно соблазняло усердных староверов)”.

Одна из первых парсун сделана с князя Михаила Скопина-Шуйского (1586–1610), образованнейшего человека своего времени, освободителя Москвы от Лжедмитрия I. Изображён он на ней безбородым, а ведь отказ от бороды становился верным признаком западника, готового отказаться от прадедовской традиции, внешне уподобиться получёрту латинянину.

“Ох, ох, Русь, что-то захотелось тебе немецких поступков и обычаев!” – сетовал в 70-е гг. XVII в. протопоп Аввакум (1621–1682). Действительно, уже с XVII века среди высших слоёв русского общества распространилось брадобритие и консерваторы отчаянно боролись с этим. Правительство колеблется: с одной стороны, оно стремится к новому, но в то же время пугается выходок староверов. В угоду последним царь Алексей Михайлович в 1675 г. издаёт указ, согласно которому предлагалось “иноземских немецких и иных обычаев не перенимать, волосов у себя на голове не подстригать”.

В 1681 г. царь Фёдор Алексеевич, который сам бороду не носил, указал всем дворянам и приказным людям носить короткие кафтаны вместо длинных охабней и однорядок – никто в старой одежде не мог явиться в Кремль. Однако упразднить стародавние бороды ему не удалось из-за противодействия патриарха Иоакима (ум. 1690), который ещё при Алексее Михайловиче, осудил тех, кто “паче ныне нача губити образ, от Бога мужу дарованный”. Иоаким отлучал от церкви не только тех, кто брился, но даже тех, кто просто общался с таковыми грешниками.

Наиболее воинственно высказывался по этому поводу русский патриарх Адриан (1627–1700). Вспоминая о тех “счастливых” временах (XVI–XVII вв.), когда за бритьё бород, помимо отлучения от церкви, иногда подвергали битью батогами или ссылкой в отдалённые монастыри, Адриан в своём “Окружном послании ко всем православным о небритии бороды и усов” при-

равнивал брадобритников к котам и псам. Всё это вызвало резкое недовольство Петра. Опальный патриарх вынужден был уехать из Москвы в Николо-Перервенский монастырь. Не одобряя многих петровских преобразований, он, тем не менее, старался не мешать царю-реформатору и молчал. Но это его молчание было, по существу, пассивной формой оппозиции.

Ревнителям бород, искавшим опоры в авторитете церкви, этого было, конечно, мало – они требовали действий, а потому негодовали на “малодушного” Адриана. Секретарь прусского посольства в России Йоганн Готтильф Фоккеродт заметил, что многие защитники старины “лучше положат голову под топор, чем лишатся бород”.

Своеобразной формой протеста против нововведений Петра I стал так называемый самоизвет, к которому, как к последнему средству, прибегали отчаявшиеся старoverы. Так, в 1704 г., к примеру, некий нижегородец Андрей Иванов прокричал: “Государево слово и дело!”, а на допросе сказал: “Государево дело за мною такое: пришёл я извещать государю, что он разрушает веру христианскую, велит бороды брить, платье носить немецкое и табак велит тянуть”. При этом Иванов ссылался на запрещающий эти “безобразия” “Стоглав”. Судьба Иванова трагична – он погиб под пытками. И случай этот не единичный.

Пример пассивного протеста приводит британский инженер на русской службе Джон Перри. Он рассказал о том, что русские, питавшие религиозный пиетет к своим бородам, вынуждены были подчиниться царскому указу и обрить их. Однако многие бережно хранили уже отрезанные бороды с тем, чтобы впоследствии, положив их с собой в гроб, предъявить на том свете Святому Николаю. Однако не все люди в рясах отстаивали русскую бороду – многие представители духовенства горячо поддерживали реформы Петра Великого. Среди них – митрополит и церковный писатель Димитрий Ростовский (в миру Даниил Туптало, 1651–1709), впоследствии канонизированный Русской православной церковью. Его перу принадлежит рассуждение “Об образе Божии и подобии в человеке”, где ему пришлось доказывать, что у человека образ Божий заключён не в бороде, а в невидимой душе, и что не борода красит человека, а добрые дела и честная жизнь. Димитрий приучал паству заботиться прежде всего о спасении души, а не о внешней красоте и благочестии.

Любопытно, что противники бород оправдывали бритьё и чисто практическими соображениями. Тот же Джон Перри утверждал, что окладистая борода мешает человеку аккуратно есть и пить. Но наиболее рельефно мысль о неудобстве бороды выразит позднее Николай Карамзин в своих “Письмах русского путешественника”: “Борода принадлежит к состоянию дикого человека; не брить её то же, что не стричь ногтей. Она закрывает от холоду только малую часть лица: сколько неудобности летом, в сильный жар! Сколько неудобности и зимой, носить на лице иней, снег и сосульки! Не лучше ли иметь муфту, которая греет не одну бороду, а всё лицо?”.

Навязывая новую моду, царь был весьма последователен и не церемонился с ослушниками. В Москве в 1704 г. на смотре служилых людей он приказал нещадно бить батогами дворянина Наумова за то, что тот не обрил бороды и усов. В отношении же простого люда власти действовали ещё более решительно. В Астрахани местный воевода Тимофей Ржевский насаждал новые порядки путём жестокого насилия. Астраханцы жаловались позже: “Бороды резали у нас с мясом и русское платье по базарам и по улицам, и по церквям обрезавали ж... и по слободам учинился от того многой плач”. Стихийные протесты жителей Астрахани переросли в восстание, которое в 1705 г. вынужден был подавлять огнём и мечом генерал-фельдмаршал Борис Шереметев. Характерно, что одному из бунтовщиков, Якову Носову, сначала обрили и уже только после этого отрубили голову. Такими мерами Пётр приобщал подданных к нововведениям на свой вкус. Восстание приняло бы более масштабный характер, если бы к астраханцам присоединились казаки, которых они просили о помощи. Однако, поскольку с молчаливого согласия властей указ Петра о брадобритии казаки не выполняли, те отказались поддержать восставших.

Когда спустя столетие русские войска, завершая войну с Наполеоном Бонапартом, вошли в Париж, бородатые казаки произвели на французов весьма сильное впечатление. Борода быстро вошла там в моду и называлась “а ля русс”. Парижские газеты писали: “Борода – это естественное украшение особ сильного пола. Она часть мужской красоты... Только борода может придать значительность лицу мужчины”.

Однако в самой России действовали запретительные законы о бородах. Они издавались и августейшими преемниками Петра I вплоть до конца XIX века. К бритому подбородку привыкли. Рядом с давним убеждением, что “борода – образ и подобие Божие”, в народном сознании жили уже совсем иные взгляды: “Борода выросла, а ума не вынесла”; “Мудрость в голове, а не в бороде” и так далее. Только император Александр III, относившийся к бритве с недоверием, полностью бороду реабилитировал. Он и сам носил бороду, и в этом ему следовал последний российский император Николай II. Но это уже выходит за рамки рассказа о венценосном брадобрее.

Предерзкое щегольство

Литератор XVIII века Иван Голиков рассказал в своих знаменитых «Анекдотах, касающихся государя императора Петра Великого»: «Один из посланных во Францию богатого отца сын... по возвращении в Петербург, желая показать себя городу, прохаживался по улицам в белых шелковых чулках, в богатом и последней моды платье, засыпанном благовонною пудрою. К несчастью его, встретился он в таком наряде с монархом, ехавшим на работы Адмиралтейские в одноколке. Его величество, подзвав его к себе, начал с ним разговор о французских модах, об образе жизни парижцев, о его тамошнем упражнении и т. д. Щеголь сей должен был на все это отвечать, идя у колеса одноколки, и монарх не прежде отпустил его от себя, пока не увидел всего его обрызганного и замазанного грязью».

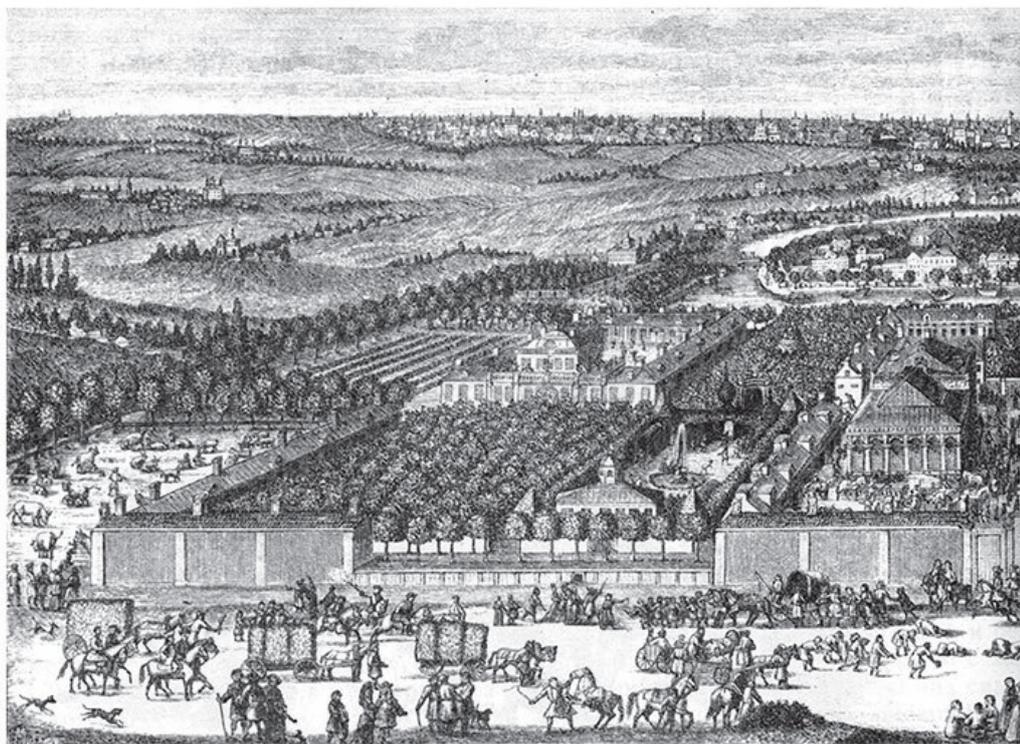
Откуда взялось у царя это неукротимое желание непременно испачкать щегольское платье? Здесь необходим исторический экскурс. И повествование следует начать с детства Петра, когда его учитель, дьяк Никита Зотов, занимал венценосного отрока показом купленных в Овощном ряду в Москве гравюр («кунштов») с изображением иностранцев в характерных костюмах. Юный царевич знал о составе и форме одежды иноземных войск не только понаслышке, но и от находившихся близ него иностранцев. (Не исключено влияние первого встреченного им «немца» Павла Менезиуса). Это помогло Петру, ещё подростку, обмундировать по-немецки свои Потешные полки.



Одежда бояр и боярынь в XVII веке.

Но непосредственно к иноземной одежде он приобщился, посещая Немецкую слободу – этот “островок Западной Европы” в тогда ещё домостроевской Московии, где бурлила жизнь,

господствовали более свободные нравы, манил незнакомый, но такой притягательный европейский быт. Князь Борис Куракин называет самым ранним поставщиком европейского платья для царя англичанина из слободы Крефта [Андрея Юрьевича Кревета], который, начиная с 1688 года, “всякие вещи его величеству закупал, из-за моря выписывал и допущен был ко двору. И от него перенято было носить шляпочки аглинские, как сары [сэры – Л.Б.], носят и камзол”.



Де Витт Г. Немецкая слобода в конце XVII века.

Однако российский патриарх Иоаким гневно осуждал всякое общение с иноземцами. “Опять напоминаю, чтоб иностранных обычаев и платья перемен по-иноземски не вводить”, – требовал он от царя. И, надо сказать, гнев патриарха был вполне обоснован: ведь самим фактом ношения западной одежды Пётр как бы превращался в “ученика Европы”. А для того, чтобы учиться у Европы, надо было перевернуть всю существовавшую веками систему ценностей, за которую горой стоял Иоаким. Прежде всего, надлежало искоренить представление о западных странах как о землях грешных, религиозно погибших. Одновременно следовало разрушить и представление о России как о совершенной стране, в которой всё свято и ничего нельзя менять. Так мыслил царь – у него само собой получалось, что отсталая Русь просто обязана перенимать опыт и мудрость у просвещённого и цивилизованного Запада. Но до поры до времени эти свои взгляды монарх не афишировал – слишком сильны ещё были ревнители старомосковской старины.

Только после смерти Иоакима (в марте 1690 года) Пётр решился заказать себе новый немецкий костюм: камзол, чулки, башмаки, шпагу на шитой перевязи и парик. Но носить эту одежду царь решает пока только среди иноземцев, а именно в той же Немецкой слободе, которую он в силу ряда причин (в том числе и “сердечных”) теперь посещает всё чаще и чаще. Его старший друг Франц Лефорт, оказавший, по словам Вольтера, “цивилизующее” воздей-

ствие на Петра, повлиял на юного царя и в выборе одежды – сохранились сведения, что в 1691 году царь нередко, подобно Лефорту, появлялся на людях во французском платье. Однако одяние монарха не отличалось свойственным Лефорту щегольством, и не было усыпано драгоценностями.

Путешествие Великого Посольства в Европу в 1697–1698 годах интересно, в частности, и тем, что московские дипломаты, щеголявшие поначалу в своих пышных боярских одеждах, экзотических для европейцев, в январе 1698 года надели, наконец, европейское платье. Событие это стало знаковым в русской культуре. После возвращения Посольства в Москву, 12 февраля 1699 года состоялась известная “баталия” Петра I с долгополым и широкорукавным платьем. Произошло это на шуточном освящении Лефортовского дворца, куда многочисленные гости явились в традиционной русской одежде: в ярких зипунах, на которых сверху были надеты кафтаны с длинными рукавами, стянутыми у запястья зарукавьями. Поверх кафтана красовался ферязь – широкое и длинное бархатное платье, застёгнутое на множество пуговиц. Наряд завершала шуба с высокой тульей. Очевидец, наблюдавший за царём в этот день, сообщал, что он взял ножницы и стал укорачивать гостям рукава, приговаривая: “Это – помеха, везде надо ждать какого-нибудь приключения, то разобьёшь стекло, то по небрежности попадёшь в похлёбку; а из этого (царь показывал отрезанные куски материи) можешь сшить себе сапоги.” Вскоре подданные уже “щеголяли по примеру царя-батюшки в коротких и удобных кафтанах европейского покроя, причём суконных, а не роскошных, как раньше”.

Важно понять историко-культурный смысл происшедших перемен. Иноземная одежда, по словам князя Михаила Щербатова, “отнимала разницу между россиянами и чужестранными” и – даже чисто внешне – превращала москвитянина в полноценного “гражданина Европии”. Поскольку такая одежда была социально маркирована (она охватывала преимущественно высший класс общества), в её введении и распространении в России усматривают удовлетворение желания дворянства даже внешне отделиться от представителей других сословий.

Но “чужое платье” (как называл его Пётр) – это не только что-то поверхностное, наружное; оно знаменовало собой вышедшего на историческую авансцену России “политичного кавалера”, то есть “окультуренного человека”, не только внешне, но и внутренне обработанного по западно-европейским стандартам цивилизованного гражданина. В нём должны были сочетаться “учённость”, военная доблесть, преданность идее “общего блага”, бескорыстие, галантность. А потому нововведения в области одежды были неразрывно связаны с подготовкой более масштабных реформ, с преодолением заскорузлой ксенофобии и пережитков старины. Очень точно сказал об этом в XVIII веке пиит Александр Сумароков: “В перемене одяния... не было Петру Великому ни малейшая нужды, ежели бы старинное платье не покрывало бы старинного упрямства... Сия есть первая ересь просвещаемуя веку от суеверов налагаемая”.

Кстати, о “суеверах”. Как показал историк культуры Борис Успенский, замена русского платья европейским приобретала особый смысл в глазах современников, поскольку именно в таком одянии на иконах изображали бесов. Поэтому этот образ был давно знаком русскому человеку, вписываясь в совершенно определённое иконографическое представление. По словам современников, “Пётр нарядил людей бесами”.

Иноземное платье вызывало и иные ассоциации. Академик Петр Пекарский упоминает об отпечатанной в типографии Яна Тессинга гравюре, на которой изображены мужчина и женщина в немецкой одежде. Далее следовал сопроводительный текст:

*Ах, ах, мир о вечном благу не помышляет,
Ходит в суетном убранстве и сим ся украшает,
В любодействе ищет себя удовлетити,
Чрез приятность нечто тайно сотворити!*

Таким образом, немецкие костюмы олицетворяли здесь откровенное прелюбодеяние. Однако, несмотря на отчаянное противодействие “староверов” нововведениям, 4 января 1700 года был издан Указ, согласно которому всё мужское население “на Москве и в городах”, кроме крестьян и духовенства, должны были носить иноземное платье “на манер венгерского”. Последующие же указы вводили уже “платье немецкое и французское”, причём, не только для мужчин, но и для женщин. Появляться в обществе в русской одежде не только запрещалось, но и каралось штрафом: у городских ворот Москвы стояли целовальники “и с противников указа брали пошлину деньгами, а также платье [старомодное – Л.Б.] резали и драли”.

Наряду с обиходным, внимание было уделено и парадному платью. Его, согласно Указу от 18 февраля 1702 года, надлежало носить всем, от “царевичей” до “нижних чинов людей”, “в праздничные и церемониальные дни”; при этом строго оговаривалось, кому и какой кафтан, какой камзол и из какой ткани следует надевать. Для Петра I традиционная московитская одежда была лишь раздражавшим его символом старины. А теперь “переодетый в более рациональное европейское платье, избавленный от длинных рукавов, широких воротников, тяжёлых высоких шапок и шуб до земли, человек начинал иначе двигаться, а следовательно иначе жить и мыслить”.

Исследователи Р. Белогорская и Л. Ефимова отмечают, что русский царь, путешествовавший в конце XVII века по Европе, мечтал познакомиться с французской культурой и сетовал, что Людовик XIV не пустил его в эту страну. И так как Петр Великий владел голландским и немецким языками, а французский знал плохо, то искал нужные ему модели в Голландии и Германии. Алексей К. Толстой в своей сатирической поэме “История государства Российского от Гостомысла до Тимашева” писал по этому поводу:

*Вернувшись оттуда [из-за границы – Л.Б.],
Он гладко нас побрил,
А к святкам, так что чудо,
В голландцев нарядил.*

Скажем кстати, что этот иностранный костюм, вводимый в России Петром I (в том числе и его голландская модель), “сложился под влиянием преимущественно французского дворянского костюма XVII века. К XVIII веку он получил общеевропейское признание. Франция стала почти единственной законодательницей новых форм костюма и законодательницей мод на долгое время”. Потому, несмотря на тонкую разницу между национальными вариантами европейской одежды (“саксонская”, “немецкая”, “венгерская” и т. д.), все они имели одинаковый крой, восходящий к французскому костюму, заимствованному Петром не непосредственно, а скорее опосредованно. И заявление британского инженера на русской службе Джона Перри о том, что в одежде царь следовал английской моде, лишний раз подтверждает вывод об универсальности французского образца. Французский костюм, на который ориентировался царь, называли ещё “воинственным”, поскольку он сложился под прямым влиянием армейской формы солдата. Пётр же как раз был приверженцем “строгого и простого военного стиля в одежде”, ценил её функциональность и не терпел украшательства. В этой связи вполне понятны гонения самодержца на “одежды весьма пышные и украшения драгоценные” московских бояр.

Иностранцы, посещавшие Московию в XV–XVII веках, неизменно отмечали “роскошное золотое платье дворян”, всадников, “одетых по-туземному самым блестящим образом”, “больших людей в парчовых халатах и шапках из чернобурых лисиц”, царя, восседавшего на престоле в золотой одежде, весившей двести фунтов. В особенности же путешественники обращали внимание на шегольство россиянок. Австрийский дипломат барон Августин фон Мейерберг свидетельствовал в XVII веке: “У женщин всех разрядов Московии все потребности состоят в... нарядах: выезжая куда-нибудь, они носят на своем платье доходы со всего

отцовского наследства и выставляют напоказ все пышности своих изысканных нарядов”. В этой связи представляется ошибочным мнение Михаила Щербатова, будто бы современники Петра I более предков своих предали роскоши. Подтверждение неправоты подобной оценки мы находим в России начала XX века, когда при дворе Николая II устраивались пышные костюмированные балы (Новый год по-итальянски, по-французски и так далее) – по общему признанию, самым роскошным маскарадом оказался как раз старорусский (1903 года), где монарх щеголял пудовым царским костюмом времен Алексея Михайловича.

Рассматривая преобразования первой четверти XVIII века, можно говорить не только о повсеместном введении в дворянской среде европейского костюма, но и о целой системе государственных мероприятий, направленных на запрет ношения стародавней московитской одежды и бороды. В ряду известных петровских кошунств находятся шутовские свадьбы, где бородатых шутов и их гостей умышленно наряжали в русское народное платье. Такое платье, представленное на свадьбе шутов, приняло в петровское время характер маскарадного.

Точно так же позднее, в XVIII веке, гимназистов и студентов наказывали, надевая на них крестьянскую, то есть русскую национальную одежду. Уместно в этой связи вспомнить, что Петр после поражения под Нарвой с горя облачается в крестьянский костюм, казня тем самым сам себя, и при этом плачет навзрыд.

Говоря о традиции древнерусского щегольства, уместно упомянуть героя былин богатыря-щипа (франта) Чурилу Пленковича, о котором рассказывается в известном “Сборнике Кириши Данилова”. Это типичный щеголь-красавец с “личиком, будто белый снег, очами ясна сокола и бровями черна соболя”, бабский угодник и Дон Жуан. Из всех персонажей русского эпоса он один заботится о своей красоте: поэтому перед ним всегда носят “подсолнечник” (зонт), предохраняющий лицо от загара. От красы, “желтых кудрей и злаченых перстней” Чурилы у жены одного князя “помешался разум в буйной голове, помутились очи ясные”. Дается в былине и описание его щегольских сапог на высоком каблуке: “Из-под носка соловей пролети, а вокруг пяточки яйцо кати”. Историк XVIII века Василий Татищев установил, что историческим прототипом Чурилы был князь Кирилл-Всеволод Ольгович (1116–1146): “Сей князь. много наложниц имел и более в веселиях, нежели расправах упражнялся. Чрез сие киевлянам тягость от него была великая и как умер, то едва кто по нем кроме баб любимых заплакал”. Факты свидетельствуют, что Петр I не только был знаком с былинами об этом древнем щеголе, но и беспощадно пародировал его: “У него все чины Всешутейшего собора звались Чурилами, с разными прибавками”.

Но не менее чем роскошь, бесила государя праздность в платье. А потому утверждение Михаила Богословского о том, что Петром I “европейская одежда взята без какого-либо отбора, только потому, что ее носили европейцы”, не вполне верно. В 1720-е гг. XVIII века в Санкт-Петербурге был оглашён следующий указ монарха: “Нами замечено, что на Невском проспекте и в ассамблеях НЕДОРОСЛИ отцов именитых, как-то: князей, графов и баронов, в нарушение этикету и регламенту штиля в гишпанских камзолах и панталонах щеголяют прездерзко:

Господину Полицмейстеру САНКТ-ПЕТЕРБУРГА УКАЗАНО: иных щеголей с отменным рвением великим вылавливать, свозить в литейную часть и бить батогами, пока от гишпанских панталон и камзолов зело похабный вид не останется. На звание и именитость отцов не взирать, а также не обращать никакого внимания на вопли наказуемых”. Таким образом, из сферы европейских заимствований категорически исключалась испанская одежда.

Почему же один ее вид вызвал у царя такую отчаянную реакцию? Дело в том, что именно праздность отличала “гишпанские камзол и панталоны”, восходящие отнюдь не к военному, но к цивильному костюму. Так же, как и французский, испанский костюм состоял из камзола, широкополой шляпы, кружевного воротника и манжет, но “нижняя его часть носила совершенно иной характер: широкие панталоны доходят до колен, на ноги надеваются длинные чёр-

ные чулки, которые прикрепляются к панталонам особыми подвязками, отделанными кружевом, и шёлковые башмаки с бантами или розетками из кружев или цветного шёлка”.

Немецкий историк культуры Герман Вейс пояснил, что жилет (или, как его называли, безрукавный камзол), узкие или широкие штаны до колен, перетянутые на талии широким цветным кушаком; чулки; остроносые башмаки без каблуков и длинные кожаные гетры на пуговицах еще долго были в моде. Появление в таком костюме на публике воспринималось Петром чуть ли не как нарушение общественного порядка, заслуживающее “отменного рвения” самого полицмейстера Санкт-Петербурга. Именно за это полагалось бить батогами, несмотря на “вопли наказуемых”. Такие, по нашему мнению, не вполне адекватные меры связаны, по-видимому, с категоричностью и импульсивностью Петра, его горячностью в отстаивании собственной позиции. (“Пётр скор на расправу” – говорили о нём). Кроме того, царь действительно видел опасность в распространении такого “предерзкого” щегольства, олицетворением которого и был для него “гишпанский” костюм.

Очевиден и воспитательный аспект этого петровского указа. То обстоятельство, что слово “недоросли” выделено здесь крупным шрифтом, позволяет рассматривать это повеление императора в ряду его узаконений о молодом поколении. Вместе с тем, Пётр уточняет направленность своего законодательного акта – он апеллирует именно к недорослям именитых отцов, как-то: князей, графов и баронов. Таким образом, он впервые говорит о явлении, которое впоследствии, уже в XX веке, получит название “плесени” или “золотой молодёжи”. И характерно, что названная прослойка молодёжи, спрятавшаяся за спины богатых и чиновных отцов, нередко ассоциируется у Петра с щегольством.

Показательно в указе замечание: “На звание и именитость отцов не взирать”. И это не просто фраза, это – осознанная государственная позиция, отвергавшая всяческую семейственность и оценивавшая человека исключительно по его “годности”, то есть по личным заслугам. На таких принципах построено всё законодательство эпохи (и прежде всего, знаменитая “Табель о рангах”, 1722 года). И в жизни царь карал нарушителей, невзирая на чиновную родню. Вот лишь один только факт: он примерно наказал племянника прославленного фельдмаршала Бориса Шереметева, посмеявшегося вместо того, чтобы отправиться на учёбу за границу, жениться на дочери князя-кесаря Федора Ромодановского.

Царь говорит в своём указе и о нарушении молодцами в “гишпанских” костюмах этикета и “регламента штитля” того времени. О каком этикете идёт здесь речь? Ведь придворный этикет, церемонии вообще стесняли Петра. Так, датский посланник Юст Юль отмечал: “О церемониях он не заботится и не придаёт им никакого значения или по меньшей мере делает вид, что не обращает на них внимания. Вообще, в числе его придворных нет ни маршала, ни церемониймейстера, ни камер-юнкера, а аудиенция моя скорее походила на простое посещение, нежели на аудиенцию”. А Михаил Богословский описал мучения императора на церемонии приёма персидского посла в августе 1723 года: “Он сильно потел от волнения и часто нюхал табак, когда посол произносил длинную высокопарную речь и когда он затем по восточному обычаю пополз по ступеням трона, чтобы поцеловать руку императора. С большим облегчением он вздохнул и выбежал из тронной залы, как только эта утомившая его церемония кончилась”.

По всей видимости, говоря об этикете, Пётр имел в виду распространённые в то время правила морали и светских манер, служившие для российских дворян своеобразным кодексом поведения. Одно из таких руководств – рукопись, переписанная рукой петербургского немца, стихотворца и переводчика, панегириста Петра I Иоганна-Вернера Паузе, где также содержатся прямые инвективы против щегольства детей богатых отцов: “Если родители подарят новое платье – не хвастай им, и не скачи перед другими от радости: это пристойно обезьянам и павлинам. Богатый хвостун в красных своих платьях поношает беду и нищету их и людей ненавистных учинит. Поэтому юношам прилично носить скромное платье”.



Этикет того времени, помимо ношения европейских одежд, включал исполнение французских, немецких и польских танцев (показательно, что в училище Эрнста Глюка в Москве в 1703 году был специальный предмет “Танцевальное искусство и поступь французских и немецких учтивств”), свободное владение иностранными языками, а также умение писать и говорить красноречиво. Пётр I, не обладая сам в достаточной мере светскими манерами, хотел видеть их у своих подданных. Он даже составил инструкцию, которой должны были руководствоваться при дворе. Впрочем, её пункты звучат довольно обыденно: “Не разувая, сапогами или башмаками, не ложит(ь)ся на постели”; “Кому будет дана карта с номером постели, то тут спать имеет. Не переноси постели ниже другому дать, или от другой постели взять”.

Издавались и руководства к сочинению писем на все случаи жизни, вроде книги “Приклады, како пишутся комплименты разные” (1708 г.). Особое место здесь занимали галантные “Поздравительные письма к женскому полу”.

Из подобных компонентов и складывался “регламент штиля” эпохи, куда “гишпанские камзол и панталоны” просто не вписались. И, действительно, мы не располагаем данными, чтобы кто-либо после названного указа облачился в подобные одежды. Но дело не только в этом. Важен сам принцип – монарх присваивает себе право вводить, разрешать или же запре-

щать ту или иную моду на одежду. Достаточно объявить неудобное платье “предерзким щегольством” – и проблема решена.

Однако Петр воспринимал как щеголей, хотя и не столь “предерзких”, и тех молодых людей, кого Николай Гоголь назвал впоследствии “французокафтанниками” (вспомним, с каким изуверством монарх испачкал французский костюм сына богатого отца!). Особенно значимо свидетельство Ивана Голикова о негативной оценке императором “так называемых петиметров, которых почитал он за людей негодных и ни к чему не способных”. Слово “петиметр” в XVIII веке обозначало фата, щеголя, обязательно галломана, высокомерного молодого человека с претенциозными манерами. Хотя Голиков употребляет понятие “петиметр” применительно к петровскому времени, думается, однако, что в российский культурный обиход оно вошло позднее (впервые фиксируется в 1750 году в комедии Александра Сумарокова “Чудовищи”), причем, особенно после полемики вокруг сатиры Ивана Елагина 1753 года, с явственным пренебрежительным оттенком.

Согласно мнению историка Льва Гумилева, при Петре I о петиметрах говорить рано: “из Европы брали только технические нововведения”, петиметры же только “при Екатерине занимали крупное положение и укрепились”. И Василий Ключевский, характеризуя этапы развития российского дворянина, при рассмотрении первой четверти XVIII века говорит только о распространенности типа “петровского артиллериста и навигатора с его военно-технической выучкой”; господство же щегольства и галломании он связывает с более поздним периодом, выделяя здесь тип “елизаветинского петиметра с его светской муштровкой”.

Как же в самом деле воспринимали Францию и парижские моды Петр и его окружение? В свое время авторитетные российские исследователи академик Яков Грот и Фридрих (Федор) Мартенс категорично утверждали, что Петр якобы не любил Францию и “не чувствовал никакого расположения к французскому народу”. Это мнение по меньшей мере спорно, если учесть ту настойчивость, с какой царь добивался не только нормализации русско-французских отношений, но даже максимально тесного сближения двух стран, включая династический брак: во время трехмесячного пребывания во Франции в 1717 году Петру пришла мысль о возможном браке его дочери Елизаветы и Людовика XV, которому в то время исполнилось шесть лет.



*Французский костюм
начала XVIII века.*

Петр не мог не ценить французскую культуру. “Добро перенимать у французов искусства и науки...”, – говорил он. Это во Франции, славившейся в XVII–XVIII веках своими салонами, в которых собирались и вели беседы выдающиеся деятели науки, искусств и политики, у Петра окончательно созрел замысел ассамблей. С влиянием Франции связывают и произошедшую в России эмансипацию женщины. Однако быт и нравы французского придворного общества претили русскому монарху. Из всех европейских стран, по которым путешествовал Петр, пожалуй, именно Франция ассоциировалась у него с роскошью и щегольством – да это и понятно: Париж славился необычайной пышностью двора и королевских приемов. Герцог Луи де Рувруа Сен-Симон сообщил: “Он прибыл в Лувр, обошел все покои королевы-матери и

нашел их слишком великолепно убранными и освещенными, опять сел в карету и отправился в отель де Ледигьер. И здесь назначенные для него покои он нашел слишком нарядными и тотчас приказал поставить свою походную кровать в гардеробной”.

По преданию, на приеме в Париже, во дворце вдовствующей королевы, Петр, отведав вина, сказал: “Пить умеют, только сильно роскошничают, и неудобь ярко освещено”. Сен-Симон продолжил: “Роскошь, какую он здесь нашел, очень изумила его; он изъявил сожаление о короле Франции, и сказал, что он с прискорбием видит, что роскошь эта скоро погубит ее”. Современники приводят и высказывания Петра о Париже: “Город сей рано или поздно от роскоши и необузданности претерпит великий вред, а от смрада вымрет,” или: “Париж воняет”. Царь наотрез отказался ездить в дворцовых каретах и поразил французов видом импровизированного русского тарантаса, сооруженного по его приказанию из кузова одноколки, который он поставил на каретный ход. Он не досмотрел парад французской гвардии, ибо ему, как природному солдату, были чужды блеск и мишура придворных манекенов. “Я видел нарядных кукол, а не солдат!” – заявил Петр.

Показательно, что в законодательнице мод, Франции, Петр отнюдь не щеголял изысканной одеждой. Сохранился любопытный анекдот: “В бытность в Париже он решил одеться по-тамошнему, но когда примерил наряд, голова его не могла выдержать тяжести парика, а тело утомлено было вышивками и разными украшениями. Обрезав кудри парика по-русски, он пришел ко двору в старом своем коротком сером кафтане без галунов, в манишке без манжет, со шляпою без перьев и черной кожаной через плечо португее. Его новая одежда, странная и никогда не виданная французами, восхитила их, по его отъезде из Парижа они точно ввели ее в моду под названием *наряд дикаря*”.

Василий Нащокин обратил внимание на то, что царский указ о запрещении чрезмерной роскоши (“чтоб золота и серебра не носить”) был опубликован “сразу же по прибытии государя из Франции”.

Однако русская знать благоговела перед французской модой и с удовольствием носила наряды в парижском вкусе. Тон здесь задавала сама монархиня Екатерина Алексеевна, постоянно следившая за новинками из Парижа: знаменательно, что ее одежда и карета для коронационных торжеств были также привезены из Франции.

Говоря о посетителях петровских ассамблей, литератор XIX века Евгений Карнович утверждал, что они “смахивали по внешности на версальских маркизов и маркиз – первых щеголей своего времени”. А наша современница Катерина Стасина сообщила даже, что сам царь требовал от своих приближенных являться на ассамблеи одетыми по последней французской моде. Думается, однако, что таких модников Петр не особенно жаловал. Обратимся к гениальному историку – Пушкину. В его повести “Арап Петра Великого” изображен галломан Корсаков. Этот модник, ездивший представляться царю, возомнил, что Петр “приятно поражен вкусом и щегольством его наряда”. Ошибка, тем не менее, обнаружилась уже на ближайшей ассамблее: Петр сам подошел к нему и сказал: “Послушай, Корсаков... штаны-то на тебе бархатные, каких и я не ношу, а я тебя намного богаче. Это мотовство; смотри, чтобы я с тобой не побранился”.

Ключ к разгадке проблемы находится в написанном Петром I уставе “О достоинстве гостевом на ассамблеях быть имеющем”. Здесь прямо сказано: “Перед появлением публичным гостю надлежит быть... обряженным весьма, но *БЕЗ ЛИШНЕГО ПЕРЕБОРУ* (курсив наш – Л.Б.), окромя дам прелестных, коим дозволяется умеренною косметикою образ свой обольстительный украсить, а особливо грацией, весельем и добротой от грубых кавалеров отличными быть”. Таким образом, “лишний перебор” в наряде, о котором идет здесь речь, – это, надо полагать, и есть щегольство, недостойное мужчины. И такое щегольство Петр категорически не приемлет.

Впрочем, к модникам чиновным монарх был весьма снисходителен. Достаточно назвать бывших у него в фаворе Петра Толстого, Бориса Шереметева, Федора Головина, Павла Ягужинского и других, облачавшихся в богатые модные французские костюмы. А чего стоят щегольское убранство дворцов “полудержавного властелина” Меншикова или роскошества сибирского губернатора Матвея Гагарина, которые Петр так долго терпел! К тому же император не жалел никаких средств на дворцовые издержки своей супруги, в том числе и на одежду ее слуг и челяди. Это заставило Михаила Щербатова высказать суждение, что Петр “среди богатых людей из первосановников его Двора... побуждал некоторое великолепие в платьях”. И в этом нет никакого противоречия, ибо царь прямо связывал “убор” человека с его положением в иерархии чинов. Тем самым утверждалась мысль о служебной маркированности платья (поскольку несоответствие наряда чину каралось даже репрессивными мерами). Петр говорил: “Напоминаем мы милостиво, чтобы каждый... наряд, экипаж и либерею имел, как чин и характер требует. По сему имеют все поступать, и объявленного штрафования остерегаться”. Подобное положение дел имело на Руси давнюю традицию: в старину чем богаче были наряды, тем более выказывалась через них знатность рода. Монаршим указом еще во второй половине XVI века было строго запрещено людям без состояния рядиться в пышные одежды.

Идеи Петра I логически развил Иван Посошков, который в “Книге о скудости и богатстве” (1724) выдвинул проект облачения каждого сословия в своего рода униформу, строго соответствующую чину и состоянию каждого. Посошков резюмировал: “А буде кто оденется не своего чина одеждою, то наказание ему чинить жестокое”. Проект Посошкова предписывал каждому сословию, какие ткани носить. При этом ношение самых дорогих “щегольских” заморских тканей – парчи с золотом и “испещрением разных цветов”, а также золотых пуговиц, позументов и шнурков было привилегией высшего дворянства.

В этом же ключе может быть рассмотрено резко отрицательное отношение Петра к нечиновным и несостоятельным щеголям. “Сей Отец подданных, – сообщает Иван Голиков, – если усматривал кого, а особливо из молодых людей, богато одетого и в щегольском экипаже едущего, всегда останавливал такового и спрашивал, кто он таков? Сколько имеет крестьян и доходов? И буде находил такие издержки несоразмерные доходам его, то, расчисля по оным, что таких излишеств заводить ему не можно, наказывал, смотря по состоянию, или журьбою, или определением на некоторое время в солдаты, матросы и проч., а мотов обыкновенно отсылал на галеры на месяц, два и больше”.

Отношение Петра Великого к щегольству ярче всего иллюстрирует следующий эпизод из его жизни: “Однажды Екатерина стала восторгаться, увидев своего супруга не в обычном простом и бедном платье, а в кафтане с серебряным шитьем, и выразила желание всегда его видеть так одетым. Петр не замедлил охладить восторги своей подруги. “Безрассудное желание, – сказал он, – ты того не представляешь, что все таковые и подобные издержки не только что излишни и отяготительны народу моему; но что за такое недостойное употребление денег народных еще и отвечать буду Богу, ведая при том, что государь должен отличаться от подданных не щегольством и пышностью, а менее еще роскошью, но неусыпным ношением на себе бремени государственного и попечением о их пользе и облегчении”...¹

¹ Ср. также: “Petite-maitre – молодой человек, который много о себе думает и лучше себя никого не ставит. Щеголь, вертопрах, петиметр” (Новой лексикон на французском, немецком, латинском и на русском языках, переводу ассессора Сергея Волчкова. Ч.2. Спб., 1764, С.323)

Несостоявшаяся царица. Анна Монс

Более чем на десять лет она овладела сердцем Петра I, который даже собирался сделать ее русской царицей. Ее звали Анна Монс (1672–1714).

Семья Монсов, жившая с конца XVII века в Москве, в Немецкой слободе, пыталась отыскать свою родословную во Франции или во Фландрии. Свидетельство тому – фамилия Монс де ла Круа, под которой Монсы выступали при царском дворе. Однако историки установили, что семейство это вестфальского происхождения, и его притязания на звание галльских дворян неосновательны.

До переезда в Немецкую слободу глава семейства Иоганн Монс жил в городе Минден на реке Везер и занимался то ли винной торговлей, то ли игрой в карты, то ли бондарными делами. Попав же в Московию, он сосредоточился на виноторговле и содержании гостиницы, а также стал поставщиком товаров для царской армии. Монсам покровительствовал друг царя адмирал Франц Якоб Лефорт.

После смерти Иоганна остались вдова, Матильда, и четверо детей: Матрена (по мужу Балк), Анна, Виллим и Филимон. За долги пришлось отдать мельницу и лавку, но дом с “аустерией” (гостиницей) остался за вдовой.



Д. А. Шмаринов. Анна Монс и Петр I на балу в Немецкой слободе

Мемуаристы обращали внимание на свойственную Монсам внешнюю привлекательность, дух взаимовыручки, умение постоять друг за друга в трудную минуту. Это была на

редкость сплоченная, дружная семья. Но нельзя не сказать еще об одном объединяющем их свойстве: стремлении к роскоши любой ценой. Причем стремление это было заложено в Монсах-детях, можно сказать, на генетическом уровне, поскольку им в полной мере обладала воспитавшая их мать, Матильда Монс. Историк и литератор XIX века Михаил Семевский отметил такие ее качества, как “вечное недовольство своим достатком, ненасытная алчность новых и новых благ, попрошайничество, заискивание у разных новых лиц, умение найти благотворительных себе особ”. Властная, хитрая, расчетливая, она старалась извлечь максимальную выгоду из ухаживания за своими дочерьми. Ее небезосновательно называли не матерью, а сутенершей.

Анна Монс – знаковая фигура не только Немецкой слободы, но и всей европейской культуры, проникшей в Московию. Воспитанная в иной вере и в иной культуре, Анна, по всей вероятности, была равнодушна к России и ее судьбам. Зато она восхищалась Западом, и, конечно, немалая доля симпатий к западному миру была вложена в Петра не только Лефортом, но и Анной Монс.

Как остроумно заметил писатель Даниил Мордовцев, из любви к Анхен “Петр особенно усердно поворачивал старую Русь лицом к Западу и поворачивал так круто, что Россия доселе остается немножко кривошейкою”.

Известен факт, что Петр произвел свое знаменитое бранобритие бояр после ночи, проведенной с Монс. Конечно, царь вынашивал этот план давно, но, кто знает, может быть, смех его возлюбленной над старозаветными бородами был как раз дополнительным стимулом, вооружившим его ножницами. Отмечалось также, что указ Петра от января 1700 года о ношении женщинами немецкого платья был навеян самодержцу нарядами Анны. Конечно, мы далеки от вывода, над которым в свое время иронизировал Федор Достоевский, что Петр, единственно, чтобы понравиться Анне Монс, совершил свою великую реформу. Разумеется, это не так. Тем не менее, роль этой женщины в истории не стоит и умалять.

Ранний брак с постылой Евдокией Лопухиной, на которой Петр женился в 1689 году по настоянию матери, и спустя лишь короткое время (в 1691) сильное “беззаконное”, по понятиям той эпохи, чувство к Анне Монс – все это не могло не отразиться на характере царя. Под влиянием целого комплекса обстоятельств у Петра смолоту развился, как отмечает Александр Томичев, “тот холерический взрывной темперамент, который впоследствии так часто проявлялся всполохами гневной ярости – или, наоборот, безудержного веселья, вакхического разгула страстей”.

Есть серьезные основания полагать, что вакханалии Петра в Немецкой слободе, а также его забавы с Анной Монс поощряла мать Петра Наталья Кирилловна, прозванная в народе “медведихой”. Известно, что она вносила разлад в отношения между сыном и разочаровавшей ее невесткой. Медведиха, желавшая самолично управлять государством, употребляла все усилия к тому, чтобы сын держался подальше от трона. Поэтому она позволяла юному Петру и воинские потехи, и плавание на пресловутых ботиках, и безудержное пьянство – лишь бы сохранить власть в своих руках.

Как же познакомились Петр и Анна? Большинство историков сходятся на том, что их познакомил бывший любовник Анны, друг и наставник царя Франц Яков Лефорт в 1691 году (или в 1692). Однако существует легенда, согласно которой Анна будто бы уже в 1689 году приняла большое участие в спасении царя во время бунта стрельцов, когда испуганный и разгневанный Петр в одном исподнем поскакал спасаться в Троицкую лавру. Говорили, что она предупредила монарха о грозящей опасности и даже последовала за ним в лавру. Об этом же пишет Александр Лавинцев (А. Красницкий) в своем историческом романе “Петр и Анна”.

Подобное развитие событий кажется нам маловероятным. Ведь известно, что Петр впервые посетил Немецкую слободу, где он бы мог познакомиться с Монсами, лишь в 1690 году. Что же касается утверждения историка-популяризатора Евгения Оларта о том, что “Анна Монс

должна была проявить какие-то недюжинные свойства, чтобы завладеть сердцем царя”, то этими свойствами вполне могли стать не какие-то мифические героические поступки, а ее личностные качества, притягательные для Петра. Михаил Семевский написал: “Ему нужна была такая подруга, которая бы умела не плакаться, не жаловаться, а звонким смехом, нежной лаской, шутливым словом кстати отогнать от него черную думу, смягчить гнев, разогнать досаду; такая, которая бы не только не чуждалась его пирушек, но сама бы их страстно любила, плясала б до упаду сил, ловко и бойко осушала бы бокалы. Статная, видная, ловкая, с крепкими мышцами, высокогрудая, с страстными огненными глазами, находчивая, вечно веселая – словом, женщина не только по характеру, но даже и в физическом состоянии не сходная с царицей Авдотьей – вот что было идеалом для Петра – и его подруга должна была утешить его и пляской, и красивым иноземным нарядом, и любезной ему немецкой или голландской речью... Анна Монс, как ему показалось, подошла к его идеалу”.

Портретов Анны Монс не сохранилось. Потому достоверно неизвестен даже цвет ее глаз. Кто-то называет ее “синеглазая Анхен”, кто-то – “черноокая Монсиха”. Историк Николай Костомаров указывал, что умная, кокетливая немка привязала царя к себе “наружным лоском обращения, которого недоставало русским женщинам”. “Наружный лоск” Анны проявлялся, в частности, в том, что она прекрасно одевалась. Исторические романисты живописали облик Монс яркими красками. Наш современник Валентин Лавров в романе “На дыбе” нарисовал Анну в пышном белом платье, в белых чулках, с тонкой талией, с высоким пучком волос на макушке, слегка нарумяненной, “не то что толстые московские дуры, мер не знавшие”.

Историки единодушны: Анна была замечательно хороша собой. Сходятся они также в том, что она некоторое время вела жизнь куртизанки – во всяком случае, ей приписывают массу любовников, среди которых был и Лефор. При этом какое-то время Монс была фавориткой обоих друзей – Петра и Лефора. Это возможно: свободные нравы Немецкой слободы общеизвестны; кроме того, к сближению с молодым и красивым царем Анну толкали и ее интимный друг Лефор, и собственная мать, стремившаяся извлечь из этой связи наибольшую выгоду, и, наконец, женское самолюбие. В этой связи лишено оснований мнение, что для того, чтобы завоевать ее сердце, царь очень усердно ухаживал за Монс.

Даниил Гранин отметил: “Она привлекала и фигурой, и ножками, душистая, наряжалась по-иностранному, ложилась в кровать с шутками, любовью занималась изобретательно”. Любовная харизма Анны Монс еще ждет своего исследователя. Однако ясно, что именно с Анной будущий царь-реформатор вкусил прелести и тонкости европейской любви.

Мемуаристы и историки говорят, что Петр испытывал к Анне глубокое нежное чувство. Обычно прижимистый, он дарит ей собственный портрет, усыпанный бриллиантами (стоимостью в 1000 рублей), назначает ей пансион в 708 рублей, наконец, строит для нее великолепный двухэтажный палатко в восемь окон (в народе его называли “царицын дворец”). В нем было все, что полагается, – и мажордом, и слуги в ливреях, два шестерика дорогих коней на конюшне, кареты на все случаи жизни. В спальне Анны, на втором этаже, был устроен специальный лифт ручного привода: звякнул в колоколец один раз – подавали вино и фрукты; звякнул два – пожалуйста, портативный туалет. Роскошно убранная опочивальня этого дворца вызывала неподдельное восхищение жителей слободы.

Вот как описывает выезд Анны Монс Алексей Н. Толстой: “Промчался золоченый, со стеклянными окнами, возок. В нем торчком, как дура неживая, сидела нарумяненная девка, – на взбитых волосах войлочная шапчонка в алмазах, в лентах; руки по локоть засунуты в собольий мешок. Все узнали стерву, кукуйскую царицу Анну Монсову. Прокатила в Гостиные ряды. Там уж купчишки всполошились, выбежали навстречу, потащили в возок шелка, бархаты”.

Однако всего этого Анне казалось мало: пользуясь расположением к ней царя, она за взятки торговала привилегиями, не гнушаясь при этом принимать как крупные, так и мелкие подношения; кланчила у своего венценосного любовника подарки и деньги. По свидетельству

панегириста Петра I Генриха фон Гюйсена, “даже в присутственных местах было принято за правило: если мадам или мадемуазель Монсен имели дело и тяжбы собственные или друзей своих, то должно оказывать им всякое содействие. Они этим снисхождением так широко пользовались, что принялись за ходатайства по делам внешней торговли и употребляли для того понятых и стряпчих”. Иногда Анна прибегала к хитрым приемам: невольная виновница гонений на царевича Алексея, она выпрашивает у Петра подарок “для многолетнего здравия царевича”: “Я прошу, мой любезнейший Государь и отец, не откажи в моей просьбе, ради Бога, пожалей меня, твою покорную рабу до самой смерти”. Или в другом месте: “Умилостивись, государь царь Петр Алексеевич!..свой милостивый приказ учини – выписать мне из дворцовых сел волость”.

Впрочем, иногда она проявляла и своего рода заботу о царе. Посылала, например, посылку из “четырех лимонов и четырех апельсинов”, чтобы Питер “кушал на здоровье” или отправляла ему “цедрею в 12 склянках” (“больше б прислала, да не могла достать”). В ее письмах сквозит скорее официальный, чем дружеский тон. “Челом быю милостивому государю за премногую милость твою, что пожаловал, обрадовал и дал милостиво ведать о своем многолетнем здравии, жду милостивое твое писание, о котором всегда молю Господа Бога”.

Ольга Лебедева, проанализировавшая эпистолярное наследие Анны Монс, пришла к выводу, что в письмах Анны к Петру, посылавшихся ею на протяжении десяти лет, нет ни одного слова о любви. Это дало основание некоторым исследователям говорить о том, что Монс – холодная и расчетливая фаворитка, недостойная чувства Петра.

Многие помнят и сочинения школьной поры об “Образе Анны Монс в романе Алексея Н. Толстого “Петр Первый”. Глупой мещанкой, не сумевшей оценить истинную любовь великого человека – Петра, предстает она. “Сердце этой ветреницы оказалось глухим к глубокому и искреннему чувству”, – писали мы, не зная, что женолюбивый Петр одновременно с Монс постоянно имел связи с другими ветреницами. Царь рассматривал интимную связь как службу себе (забавно, что Анна Монс подписала письма к Петру – “верная слуга”).

Достаточно сказать, что наряду с Анной он имел отношения с ее ближайшей подругой, Еленой Фадемрех. Последняя находила для царя более ласковые, чем Монс, слова: “Свету моему, любезнейшему сыночку, чернобровенькому, черноглазенькому, востречку дорогому...”. А что Анна? Известно, что она никогда не выговаривала Петру за его случайные связи. Анна не ревновала или делала вид, что не ревновала. Похоже, она была уверена в себе. Любила ли она? И разве любовь может быть без ревности?

“Будь у Анны Монс поболее ума, именно она заняла бы место на троне”, – отметил современный историк-популяризатор Александр Крылов. Но все дело в том, что примерять на себя российскую корону Анна никогда не стремилась. Ей чужды были и православие, и русская культура, и тот деятельный и разгульный мир, который строил вокруг себя ее Питер. Анхен звала на дипломатических приемах, куда он звал ее. Подобно римскому императору Диоклетиану, она находила удовольствие в тихом сельском труде, выращивании кочнов капусты, удивлявших обитателей Немецкой слободы. Ей милее всего была ее уединенная мыза около ручья Кукуя, где паслись шортгорнские коровы и аглицкие свиньи, росли иноземные овощи и картофель. Не случайно Анну называют “первой идейной дачницей на Руси”.

Она, скорее всего, не любила Петра – лишь ценила его привязанность к ней, отвечала ему теплой дружбой и умела пользоваться добрым чувством все сильного властелина русской земли. С таким “мучительным человеком”, как Петр, можно было стать полностью обезличенной. Ее чувства передал писатель Юлиан Семенов: “Тяжко было каждый миг всегда держать себя в кулаке. Поди попробуй с такой машиной изо дня в день быть рядом, угадывать его, утешать, миловать, шептать тихое.”.

Но в том-то и дело, что Анне было чуждо откровенное притворство. По словам Франсуа (Никиты) Вильбуа, Петр непременно женился бы на Анне, если бы она “искренне ответила

на ту сильную любовь, которую питал к ней царь. Но она, хотя и оказывала ему свою благосклонность, не проявляла нежности к этому государю. Более того, есть тайные сведения, что она питала к нему отвращение, которое не в силах была скрыть”.

Тем более, что поведение самого Петра давало для этого повод. В марте 1697 г. он на полтора года в составе Великого Посольства отправился в Европу и за это время не написал ни единого письма своей возлюбленной Анхен. Она, почувствовав себя свободной от каких-либо обязательств по отношению к царю (смутные обещания женитьбы не в счет), завела себе любовника – саксонского посланника Фридриха фон Кенигсека. Это был, в отличие от неряшливого и небрежно одетого Петра, истый щеголь, обладатель галантных манер, искушенный в европейском политезе, ярый поклонник своего кумира – Саксонского курфюрста и польского короля Августа II Сильного, дамского угодника, изощренного в модах и любовных утехах. Надо сказать, что щегольство было фамильной чертой семейства Монс, а потому столь для них притягательной. Впоследствии брат Анны Виллим будет признан первым франтом при дворе императрицы. Кенигсек делал Анне дорогие подарки, чем окончательно покорила ее.

Возвратившись в Москву из чужих краев, Петр тотчас же побывал у Анны Монс. Австрийский посол Игнатий Христофор де Гвариент замечает по этому поводу, что царь был одержим прежней неугасимой страстью. До поры до времени Петр не знал об измене. Он даже даровал Анхен 295 дворов в селе Дудино Козельского уезда. Неверность открылась только через пять лет благодаря роковому стечению обстоятельств.

11 апреля 1703 года, в день пиршества Петра в Шлиссельбурге по случаю отремонтированной яхты, в Неве утонул саксонский посланник Кенигсек. Однако труп несчастного был найден только осенью. В бумагах покойного были найдены адресованные ему любовные письма Анны Монс, избличающие ее в неверности к Петру, а также ее медальон.

Сохранилась романтическая легенда о поведении Петра I, уличившего Монс в измене, записанная женой английского резидента леди Джейн Вигор (Рондо) в 1730 году: “Петр заплакал и сказал, что прощает ей, поскольку также глубоко чувствует, сколь невозможно завоевать сердечную склонность, ибо, – добавил он, – несмотря на то, что вы отвечали обманом на мое обожание, я чувствую, что не могу ненавидеть вас, хотя себя я ненавижу за слабость, в которой повинен. Но я заслуживал бы совершенного презрения, если бы продолжал жить с вами. Поэтому уходите, пока я могу сдержать свой гнев, не выходя за пределы человеколюбия. Вы никогда не будете нуждаться, но я не желаю вас больше видеть. Он сдержал свое слово, и вскоре после этого выдал ее замуж за человека, который служил в отдаленном крае, и всегда заботился об их благополучии.”

На самом деле все было совсем не так. С конца 1703 года по приказанию Петра Анна и ее сестра Матрена находятся под домашним арестом. Им запрещено ездить даже в кирху. А в Преображенском приказе до 30 человек сидят по “делу Монсихи” и дают показания о том, как Анна злоупотребляла доверием царя. У Монсов были отобраны палатки и деревни в Немецкой слободе; движимое же имущество и драгоценности были им оставлены. В заточении отчаявшаяся Анна, стремившаяся вернуть Петра, занимается гаданием и приворотом. На нее доносят. Однако царь прекратил процесс, который, как говорил панегирист Петра Гюйсен, в других государствах повлек бы за собой жесточайшее наказание. Вообще некоторые историки обращают внимание на слишком мелкую месть Петра Анне. Тот же Евгений Оларт заключает: “Глубоко должен был любить красавицу-немку этот жестокий человек, чтобы наказать ее за измену только заточением в собственном доме”.

Дом арестантки Анны Монс посещает приятель Кенигсека прусский посланник Георг Иоганн Кайзерлинг, сначала на правах друга, а затем пленяется ею и заручается ее согласием выйти за него замуж. В их отношениях много романтического. Кайзерлинг обратился к Меншикову, через которого надеялся получить разрешение Петра на брак. Меншиков потребовал письменные прошения от Кайзерлинга и Анны Монс. Получив их, Петр самолично приезжает

к Монс, говорит, что у него тоже были серьезные намерения относительно их общей судьбы, что он хотел видеть ее государыней, а она прельстилась Кайзерлингом – этим хрым и старым человеком. Но Анна была непреклонна в своем желании выйти замуж за пруссака. Раздосадованный Петр отбирает у нее свой портрет с бриллиантами и бросает ей в лицо: “Чтобы любить царя, надо иметь царя в голове!”

Через некоторое время на дипломатическом приеме Петр остановил Кайзерлинга с гневными словами: “Как вы могли обманым путем обольстить женщину, которую я люблю и относительно которой у меня были самые серьезные намерения?” Оказавшийся рядом Меншиков тут же начинает оскорблять Кайзерлинга, намекая на его мужские недостатки. Посланника спускают с лестницы, и внизу офицеры из свиты Меншикова избивают его. Фантастические слухи об этой скандальной истории достигли Европы. 4 февраля 1704 г. русский посол в Гааге Андрей Матвеев сообщил, что там циркулируют вести, будто Петр, призвав на тайную аудиенцию прусского посланника и его секретаря, своими руками отсек им головы.

Скандал должен был привести к отъезду Кайзерлинга из России, на что и рассчитывал Петр. Но Кайзерлинг не уезжает, а пишет уничижительное письмо, в котором просит прощения у... Меншикова – лишь бы только остаться с Анной! И хотя домашний арест с Монсов был снят в 1706 г., а обвенчались Кайзерлинг и Анна только в 1711 г., всей этой историей Петру Великому был преподан важный урок. Русский самодержец впервые убедился, что он не всевластен – он, который пользовался таким успехом у женщин, – царь, получил отставку у женщины, которой предлагал все! А Анна Монс показала, что корысть не сосуществует с гораздо более ярким и сильным чувством – с любовью!

Брак Монс с Кайзерлингом был очень недолгим. После смерти мужа в том же 1711 г. Анна вела тяжбу со старшим братом покойного вокруг наследства. Она осталась с тремя детьми. Известно, что она имела дочь от Кенигсека, а также ребенка от Кайзерлинга. Недавно найденные материалы в Российском историческом архиве Санкт-Петербурга позволяют выдвинуть предположение о том, что она имела сына и от Петра I. Там обнаружено прошение некоей Анны М. о сыне с резолюцией Петра: “Сего Немцова сына Якова отправить в учебу морскому делу в Голландию, пансион и догляд надлежащий обеспечить”. По мнению исследователей, Анна М. – Анна Монс. Сопоставление фактов привело к заключению, что Яков Немцов – сын Петра I и Анны Монс. Сенсационность этому факту придает то обстоятельство, что кровь Петра и Монс будто бы находят в оппозиционном активисте Борисе Немцове, о чем писала в начале 1994 года владимирская газета “Новое время” (на наш взгляд, это очень маловероятно).

После смерти Кайзерлинга Анна Монс сближается с пленным шведским капитаном Карлом фон Миллером. Теперь уже не прежняя “хохотушка и резвушка”, а увядшая женщина, она сама одаривает жениха дорогостоящими подарками. Среди пожитков, дарованных шведу, были “камзол штофовой, золотом и серебром шитый; кувшинец да блюдо, что бороды бреют, серебряные”. Был назначен и день свадьбы, но незадолго до него, 15 августа 1714 года, Анна скончалась, завещав жениху почти все свое состояние. Мать, а также брат и сестра Анны вели потом скандальные судебные разбирательства с Миллером. И только благодаря тому, что младшие Монсы постепенно вышли в люди (брат Виллим отличился на военной службе, а сестра стала фрейлиной при Дворе), Миллеру пришлось отступить.

Так завершилась история одной из самых приметных женщин Петровской эпохи, имевшей известное влияние на личность нашего царя-реформатора. Говоря об Анне Монс, обычно подразумевают явление, которое один историк метко назвал “Монсолубием”. Оно было при-суще не только Петру, но и близкой ему супруге Екатерине, полюбившей Виллима Монса! Трагична и судьба дочери сестры Анны, Матрены Монс-Балк – Натальи Лопухиной, подвергшейся экзекуции уже во времена императрицы Елизаветы. Об этом мы еще поговорим. Монсы, красавцы и модники, волею судеб вращавшиеся в высших сферах русского общества, не раз

кружили головы венценосным особам России. И Анна занимает в их ряду особое место как первая любовь Петра Великого.

Шереметев Благородный. Борис Шереметев

Один из самых ревностных сподвижников Петра Великого, Борис Петрович Шереметев (1652–1719), тот самый, по словам А. С. Пушкина, “Шереметев благородный”, получил за свои труды и ратные подвиги все мыслимые награды и почести – стал генерал-фельдмаршалом (в 1701 году), первым в России графом (в 1706) и одним из самых крупных землевладельцев в стране.

Отпрыск древнего рода, имевшего общее происхождение с царской фамилией Романовых, он в 13 лет начинает служить при дворе “тишайшего” царя Алексея Михайловича комнатным стольником. Однако карьера его не была слишком стремительной: “боярскую шапку” он получил только в тридцать лет.

На военном и дипломатическом поприщах Шереметев выделился уже во времена регентства царевны Софьи Алексеевны: в 1686 году участвовал в заключении “вечного мира” с Речью Посполитой, а затем возглавил посольство, отправленное в Варшаву для его ратификации. Согласно сему договору, за Россией “навечно” был закреплен Киев. Проявил себя наш герой и в Крымских походах (1687, 1689).



*И. П. Аргунов.
Портрет графа Б.П. Шереметева. 1768.*

Служба вдали от Москвы (он командовал войсками в Белгороде и Севске) позволила Борису Петровичу не делать выбора между царевной Софьей и Петром I: он, естественно,

примкнул к победившей стороне и оказался среди сторонников царя. Шереметев командовал армией в Азовских походах в 1695–1696 годах, в 1697–1699 ездил с дипломатической миссией в Европу, посетил Австрию, Польшу, Италию, остров Мальту.

Но подлинную славу стяжали ему баталии Северной войны 1700–1721 годов. Под Нарвой (в 1700-м) Шереметев командовал конницей, которая успешно действовала против крымцев, хотя и не устояла перед натиском войск Карла XII. Первые впечатляющие победы были одержаны им в Прибалтике, где он, с 1701 года фельдмаршал и кавалер ордена св. Андрея Первозванного, взял Эрестфер (1701), Гуммельсгофе (1702), Копорье (1703), Дерпт (1704). В легендарном Полтавском сражении (1709) Борис Петрович руководил всей пехотой русской армии, а в 1710 году командовал осадой Риги вплоть до ее капитуляции.

Шереметеву довелось пережить и все тяготы Прутского похода 1711 года, в результате которого он потерял сына, Михаила, оставленного, согласно договору с османами, в турецком плену на три года (он скончался по пути домой). Он и сам часто подвергал себя смертельной опасности, бросаясь в самое пекло битвы. Однажды он поспешил на помощь солдату, которого теснили трое турок, и спас его. Борис Петрович командовал наблюдательной армией против Турции в 1712–1714 годах, а 1715–1717 годах – корпусом в Мекленбурге и Померании.

Шереметев удостоился чести стать первым русским кавалером Мальтийского ордена Большого Креста с бриллиантами, который 10 мая 1698 года на острове в своем дворце вручил ему сам Великий Магистр ордена. В пространном сопроводительном патенте говорилось о “знаменитости рода и доблести” новоиспеченного кавалера, но, прежде всего, об “услугах Христианству”, оказанных “Великим Государем, Его Царским Пресветлейшим Величеством” Петром I. Так Борис Петрович заручился поддержкой Мальтийского рыцарского ордена в борьбе России с Турцией и Крымским ханством.

Когда, по возвращении в Москву, Шереметев, украшенный полученным на Мальте орденом, предстал перед царем, монарх принял его милостиво, поздравил с награждением и приказал всегда носить этот орденский крест. А в Разряде и в присутственных местах повелел записать: “что титуло его сверх боярского достоинства еще получено приращение, и как в Боярской книге, в Росписях и других бумагах, так и сам бы он писал: боярин и военный свидетельствованный мальтийский кавалер”. Слово “свидетельствованный” показывает, сколь похвальным казалось в глазах монарха признание заслуг его подданного европейскими “политичными” кавалерами.

Судьбе было угодно, чтобы Борис Петрович не только сам обрел новый европейский облик, но и отчаянно расправился с его противниками и гонителями. Так, в 1705 году в Астрахани местные жители подняли бунт против ретивого воеводы, проявлявшего непомерное рвение в исполнении царских указов о брадобритии и немецком платье. Вверенные ему солдаты и стрельцы ловили на улицах Астрахани бородачей и тут же отрезали у них бороды, прихватывая иногда и кожу; ножницы шли в ход и для укорачивания старорусской одежды.

Как потом показали на следствии заговорщики, они “сходились меж собою о том, чтоб учинить бунт, воеводу и начальных людей побить, и за веру и правду постоять, и усов и бород не брить, и немецкого платья не носить”. Подобные же мотивы приводились бунтовщиками в советном письме от 31 июля 1705 года, посланном в Черкасск донским казакам, которых они надеялись привлечь на свою сторону. Однако поскольку царские указы о брадобритии и немецком платье на казаков не распространялись, те не только не присоединились к астраханцам, но взяли под стражу их посланцев и, заковав в кандалы, отправили в Москву. Таким образом, требования смутьянов – длиннополое платье, борода и усы – символизировали старину и выражали протест против прогресса и европеизации страны. А подобная ретроградность локализовала восстание, препятствовала перерастанию отдельного эпизода в событие общероссийского значения. Тем не менее, бунт был опасен и требовал от правительства карательной операции.

И для роли руководителя такой операции у Петра не было лучшей кандидатуры, чем Шереметев. В самом деле, для этого не подходили ни Александр Меншиков, которого бунтовщики считали виновником нововведений (“Все те ереси от Меншикова да жителей Немецкой слободы”), ни князь Федор Ромодановский, ни Федор Головин, ни Федор Апраксин, также непосредственно причастные к новшествам, вводимым в стране. В этом отношении Борис Петрович, всецело занятый борьбой с внешними врагами и не участвовавший в преобразованиях Петра I во внутренней жизни державы, был наиболее подходящей фигурой в силу своей нейтральности.

Вначале Шереметев обещал восставшим полное прощение, но бунтовщики не пожелали покориться. Тогда фельдмаршал двинул на Астрахань всю свою трехтысячную армию и взял город штурмом – признав поражение, восставшие выставили у городских ворот плаху с топорами. За подавление восстания Петр I – впервые в России – пожаловал Борису Петровичу в 1706 году титул графа.

Несмотря на то, что Борис Петрович был приверженцем европейской цивилизации и этикета (историки даже называли его “горячим западником”), он разошелся с царем по принципиальнейшему вопросу того времени – так называемому “делу царевича Алексея”. Подробно останавливаться на перипетиях сего дела мы не будем. Отметим лишь, что консервативный Алексей Петрович, (вольно или невольно) претендовавший на родительский престол уже в силу своего происхождения, был противником петровских реформ и ревностным приверженцем старомосковских порядков. Понимая всю опасность Алексея как живого символа противодействия собственным преобразованиям, Петр I добился от духовенства, генералитета, сенаторов и министров единодушного решения – определить царевичу “казнь смертную без всякой пощады”. Под этим документом стоят подписи всех “птенцов гнезда Петрова”, кроме... графа Бориса Шереметева. По преданию, Борис Петрович не убоился царя и отказался подписать смертный приговор Алексею, заявив: “Я должен служить своему государю, а не кровь его судить!”. Историк князь Михаил Щербатов усмотрел в этом смелом поступке Шереметева верность старомосковским моральным устоям: человек православный, мужественный и честный, Шереметев не мог взять на душу такой грех, как приговор к смерти августейшего юноши.

Прочные московские корни Бориса Петровича проявлялись также и в том, что и в повседневной жизни он любил старинные русские обычаи. Вот что писал о нем современник: “Самый важный человек своей страны и весьма научившийся вследствие своих путешествий, он в своей обстановке и образе великолепен. Солдаты чрезвычайно любят его, а народ почти обожает”.

Представитель старейшего боярского рода, Шереметев настороженно относился к “безродным выскочкам” в окружении Петра (прежде всего, к светлейшему князю Александру Меншикову). Подобная позиция не могла найти поддержку у царя, делавшего ставку не на “знатность”, а на “годность” человека, и подчас едко высмеивавшего притязания аристократии (род которых “старее черта”) на какие-либо привилегии. Поэтому едва ли справедливо мнение, что Петр I чтит Шереметева за его родовитость – для монарха она никогда не имела особого значения. А потому то обстоятельство, что Борис Петрович допускался к царю без доклада, говорит скорее об уважении Петром личных качеств Шереметева, тем более, что, встречая его, как высокого гостя, царь часто называл его “боярд”, то есть надежный, благородный, и всегда говорил: “Я имею дело с командиром войск”. И, действительно, Шереметев был по военной иерархии самым важным лицом после императора (не зря А. С. Пушкин в поэме “Полтава” назвал его имя первым среди соратников Петра). Импонировал, по-видимому, царю и самозабвенный патриотизм Шереметева. “Сколько есть во мне ума и силы, с великою охотою хочу служить; а себя я не пожалел и не жалею”, – писал фельдмаршал Петру.

Можно сказать, что склонность к иноземным обычаям была наследственной чертой Шереметевых. Известно, что дядя Бориса Петровича Матвей Васильевич Шереметев сбрил

бороду, чем заслужил гнев знаменитого протопопа Аввакума, обличавшего его как принявшего “блудолюбный” образ. Есть свидетельства и о близости отца Бориса Шереметева Петра Васильевича к польским верхам в Киеве: на сохранившемся портрете южнорусского письма того времени он изображен без бороды и в польском платье.

Бориса Шереметева также с полным основанием можно назвать полонофилом. Получив в Киеве, где он учился в Духовной академии, вкус к польской культуре, Шереметев остался ему верен и перебравшись в Москву во время правления царя Федора Алексеевича, при котором также господствовал “политес с маниру польского”. Борис Петрович знал польский язык и мог свободно вести на нем светскую беседу. В 1686 году, выполняя в Польше дипломатическое поручение, он стал приятным гостем во дворце, где часто играл с королевой в карты, а с принцессой танцевал. Знаменательно, что восприемником у его сына, Сергея, был не кто иной, как сам польский король Август II Сильный.

Поляков мы видим и среди домашних слуг Шереметева, и в их числе даже одного поэта, некоего Петра Терлецкого, который в 1695 году издал стихотворный панегирик, посвященный “ясновельможному пану Борису Петровичу”. И позднее, во время Посольства 1697–1698 годов, Шереметев и его спутники нередко “банкетировали и танцевали” в домах польских вельмож.

Однако интерес Шереметева к иноземному и иноземцам Польшей отнюдь не ограничивался (даже на уровне домашних и личных связей). Симптоматично, что в течение 12 лет его личным секретарем был немец Франц Вирст. Заслуживает внимания и то, что Борис Петрович имел дом в Немецкой слободе в Москве, где жили в основном протестанты.

И в одежде Шереметев ориентировался впоследствии не на польские, а преимущественно на немецкие и французские моды. Так, есть сведения, что во время своего пребывания в Вене он поехал на обед к цесарю, “убрався в немецкое платье”.

В Москву Шереметев возвратился в феврале 1699 года. Иоганн Георг Корб так отметил это событие в своем дневнике: “Князь Шереметев... нося немецкую одежду... очень удачно подражал и немецким обычаям, в силу чего был в особой милости и почете у царя”. Обычаи, о которых идет здесь речь, это – правила “учтивств”, галантности и политеса, к которым Петр хотел приобщить русский Двор. И, видимо, именно они, а не только немецкое платье, как полагает современный исследователь Анатолий Шикман, вызвали восторженный прием царя.

А на третий день по возвращении в Москву на банкете у адмирала Франца Якоба Лефорта он щеголял уже “во убрании французском”, чем также обрадовал Петра: ведь Борис Петрович и бороду сбрил, и европейское платье надел еще до его, царских указов на сей счет! В этой связи кажется неправдоподобным описание костюма Шереметева в историческом романе Александра Лавинцева (А. Красницкого) “На закате любви”, относящееся к 1703 году: “Он молодецкато держался на коне, но в то же время казался смешным в своем старомосковском одеянии и в высокой горлатной шапке”. Факты свидетельствуют – Шереметев окончательно и бесповоротно расстался с московитским костюмом еще в конце 1697 года. И Борису Петровичу, по-видимому, доставляло удовольствие демонстрировать свой “европеизм”.

В европеизации России Шереметев, который сам был европейски образованным человеком, не видел, надо полагать, никакой опасности для государства. Напротив, его добровольное переодевание в западное платье и бритье бороды говорят сами за себя. Такое поведение получило обоснование у друга его киевской юности Даниила Туптало (впоследствии митрополита Дмитрия Ростовского), написавшего специальное сочинение “Об образе Божии и подобии в человеце”, где доказывалось, что у человека образ Божий заключен не в бороде, а в невидимой душе, и что не борода красит человека, а добрые дела и честная жизнь.

Показательно, что и в самом доме Шереметева иностранная обстановка вытеснила отечественные предметы быта и обихода, сообщая всем покоям неповторимый стиль. Эта обста-

новка, включающая в себя и произведения западного искусства, приобреталась главным образом во время заграничных походов.

Современники-россияне так живописали его портрет: “высокий, красивый мужчина, с правильными чертами лица, открытым взглядом, мягким голосом, с привлекательными манерами, приятный в общении”, отмечая такие его особенности, как любезность и выдержка. Лестно отзывались о нем и иноземцы, называя его “наиболее культурным человеком в стране” и даже “украшением России”. При этом Шереметев был начисто лишен самохвальства и чванства. Иногда, проезжая по улицам Москвы в золоченой карете четверней, окруженный гайдуками и скороходами, он замечал идущего пешком бравого офицера, ранее служившего под его началом; тогда он приказывал остановить карету, выходил из нее и шел позвать руку своему старому товарищу по оружию. Такая открытая приветливость знатного вельможи древнего рода сильно контрастировала с надменностью “полудержавного властелина”, сына конюха Меншикова, высокомерного и заносчивого.

Личная жизнь Шереметева сложилась непросто. Историк XVIII века Герард Фридрих Миллер писал: “Борис Петрович не только воинскими подвигами, но и любовными предупреждал несколько свои лета”, женившись в 1669 году, всего семнадцати лет от роду. Зато вторая женитьба Шереметева, осуществленная по велению Петра I (в ответ на просьбу первого постричься в монахи), состоялась поздно, а именно, когда овдовевшему Борису Петровичу было уже 62 года. Царь самолично нашел ему жену, не только молодую и красивую, но еще и свою родственницу – 26-летнюю вдову Анну Петровну Нарышкину. От этого брака у Шереметевых родилось пятеро детей.

Шереметев, так же, как и другие первосановники того времени – граф Федор Апраксин, канцлер граф Гавриил Головкин, боярин Тихон Стрешнев, давал дома роскошные открытые обеды для царя и дворянства. За столом у него ставилось не менее 50 приборов, даже в походное время; при этом принимался всякий, званный и незванный, одетый по-европейски, только с условием: не чиниться перед хлебосольным хозяином. Слава об этих обедах облетела страну; так что в языке эпохи появилось даже крылатое выражение “жить на Шереметев счет” для обозначения дарового существования.

В то же время князь Михаил Щербатов говорит о Шереметеве чуть ли не как о разорившемся человеке: “Фельдмаршал, именитый своими делами, обогащенный милостию монаршею, принужден, однако, был вперед государево жалование забирать и с долгом сим скончался, яко свидетельствует самая его духовная. И после смерти жена его подавала письмо государю, что она от исков и других убытков пришла в разоренье”. Другие же исследователи, наоборот, называют детей Бориса Петровича наследниками самого большого состояния в России. Факты свидетельствуют о том, что Шереметев был богатейшим землевладельцем. Так, уже в 1708 году он владел 19 вотчинами, в которых было 5282 двора и 18031 крепостных. Историк Николай Павленко пишет: “Реальные доходы Шереметева решительно опровергают его жалобы... Общий доход помещика Шереметева с вотчин, надо полагать, составлял никак не менее 15 тысяч рублей в год. Фельдмаршал получал самое высокое в стране жалование – свыше 7 тысяч рублей”.

По свидетельствам современников, Петр настолько уважал графа, что никогда не заставлял его пить, даже во время застолий. А для склонного к “Ивашке Хмельницкому” русского царя, заставлявшего пить до дна даже беременных женщин, это кое-что да значит!

В конце 1717 г. Шереметев уехал в отпуск, в Москву, где и умер в своем доме на Никольской в 1719. Он завещал похоронить его в Киево-Печерской лавре, но Петр I, понимая, что имя Шереметева и после смерти сохранит государственное значение, распорядился о погребении в Петербурге, в Александро-Невской лавре, где по приказу царя был создан пантеон выдающихся людей России. Очень точно сказал об этом Павленко: “Смерть Шереметева и его похороны столь же символичны, как и вся жизнь фельдмаршала. Умер он в старой столице, а

захоронен в новой. В его жизни старое и новое тоже переплетались, создавая портрет деятеля периода перехода от Московской Руси к европеизированной Российской империи”.

Таким образом, “древнее воспитание” и европейские манеры оказались органически слиты в образе российского боярда, командира Петровских войск Бориса Шереметева. Заимствуя внешние формы аристократического быта и этикета Запада, он сохранил в неприкосновенности политические и религиозные основы национального мировоззрения. А потому в широких кругах улавливали, что, невзирая на европейский облик Шереметева и его близость к иностранцам, он представлял собой особое культурно-политическое и социальное течение, по сравнению с тем, которое воплощал в своем лице Петр. А царю приходилось примириться с тем, что имя его ближайшего соратника могло служить знаменем в руках противников нового порядка. И пышными похоронами этого государственного мужа, главного своего фельдмаршала, он хотел раз и навсегда отнять у них это знамя.

Метаморфозы Стольника. Петр Толстой

Сподвижник Петра I граф Андрей Матвеев отозвался о Петре Андреевиче Толстом (1645–1729), как о человеке “в уме зело остром и великого пронырства”. Именно за эти качества его прозвали также “шарпенком”. В самом деле, сей отпрыск старинного, восходящего к XIV веку черниговского рода, долго прозябавшего в бедности и безвестности, был возвышен царевной Софьей и принял деятельное участие в стрелецком бунте 1682 года, в ходе которого были убиты ближайшие родственники и сторонники царевича Петра. Однако увидев, как усиливается и берет верх партия Петра, Толстой сделал крутой поворот и примкнул к сторонникам молодого царя. Своим отчаянным хитроумием он сумел не только загладить свою вину перед самодержцем, но и завоевать его полное доверие. Этой целью руководствовался Петр Андреевич и когда в 1697 году, в возрасте уже пятидесяти двух лет, испросил у государя разрешение отправиться волонтером в Италию для изучения морской науки. Расчет Толстого был психологически точен: желание ехать в чужие края за знаниями было музыкой для ушей царя-реформатора.



*Портрет графа П. А. Толстого.
С оригинала И. Г. Таннауэра. 1719.*

Забегая вперед, скажем, что Толстому дались и морское ремесло, и итальянский язык, и политес, но главное же – он проявил завидную настойчивость и изворотливость. Потому Петр I,

отличавшийся особой проницательностью в оценке людей, вместо морской службы определил Толстого по дипломатической части, направив его первым постоянным послом в Османскую империю. Мы не будем подробно останавливаться на дипломатической миссии Толстого в Турции, которая была чрезвычайно успешна (в том числе даже в глазах самих турок). Отметим лишь, что Петру Андреевичу удалось добиться столь желаемой царем выдачи изменника Мазепы (правда, она не состоялась, ибо гетман испустил дух), а также длительной отсрочки вступления османов в Северную войну: именно благодаря Толстому Турция объявила войну России только в 1710 году – к тому времени в Северной войне со Швецией инициатива была уже на стороне России.

Кредит доверия Петра к Толстому после Турецких событий возрос настолько, что царь давал ему особо деликатные поручения. Именно Петр Андреевич был отправлен на розыски “непотребного сына” царя, Алексея Петровича. И он не только обнаружил беглеца в замке Сент-Эльм, что под Неаполем, но и, поняв, что царевича России добром не выдадут, употребил все свое коварство, чтобы заполучить его хоть мытьем, хоть катаньем. И какие только туры на колесах ни разводил – сулил полное прощение и всяческие милости Петра, да к тому же подкупил любовницу Алексея, Ефросинью, которая только и твердила царевичу, что, мол, желает по Неве на барке покататься. Благодаря усилиям Толстого Алексей в 1718 году был возвращен, а затем подвергся пыткам и казнен. А царь пожаловал Петру Андреевичу орден св. Андрея Первозванного, чин действительного тайного советника, а также должности президента Коммерц-коллегии, начальника Тайной канцелярии, сенатора и множество дворов, деревень, сотни крепостных.

Современники характеризуют Толстого, как человека нрава деятельного и неукротимого, но лживого и лукавого, без проблесков совести и порывов к состраданию, способного решительно на все.

Известно, что именно Толстой всячески поощрял любовную интригу Петра I с дочерью валашского господаря, княгиней Марией Кантемир, что ставило под удар брак царя с Екатериной Алексеевной. Однако Екатерина подкупила врача семьи Кантемиров грека Полигали, и тот дал княгине такие дьявольские снадобья, что у нее сделался выкидыш, и она навсегда лишилась возможности иметь детей. Петр Андреевич, смекнув, что ставил не на ту карту, тут же переметнулся в стан друзей Екатерины и даже стал склонять царя к коронации ее как российской императрицы. И вот уже Толстой руководит торжественным коронационным церемониалом и получает в этот самый день вождеденный графский титул.

Петр I говорил о нем: “Толстой весьма смьшлен, но когда имеешь с ним дело, надо всегда иметь увесистый камень за пазухой, дабы стукнуть его в случае нужды по голове!” Рассказывали, что как-то во время придворного застолья царь подошел к Петру Андреевичу и, положив ему руку на голову, сказал: “Сколько ума в этой голове! Кабы так много его там не было, эта голова давным-давно покатила бы с плеч”. Впрочем, о Толстом весьма лестно отзывались и именитые иноземцы. “Умнейшая голова России”, “благовоспитанный человек”, “очень ловкий”, – говорил о нем французский посланник Жак де Кампредон; “достопочтеннейший и знаменитейший”, – писал Н. де Маньян; человек, который играл “выдающуюся роль на театре российской истории”, – отмечал датский эмиссар Ганс Георг Вестфален.

Нас будет интересовать вполне определенный период жизни Петра Андреевича, а именно его заграничное путешествие (с 26 февраля 1697 по 27 января 1699 года). Это было время, когда между ним и царем только-только начинал растапливаться лед недоверия. Начинать карьеру на шестом десятке лет ему, тогда еще неизвестному стольнику, воеводе из Великого Устюга, надо было не просто с нуля, а учитывая его прежнюю горячую поддержку заточенной теперь в монастырь Софьи, – со знака минус. И на этом решительном этапе своей жизни он превратился в ревностного сторонника петровских преобразований.

И внешним проявлением такого превращения явилась его манера одеваться, которая, как и сам Петр Андреевич, претерпела тогда самые решительные метаморфозы. В свой заграничный вояж он отправился в традиционном старомосковском платье. Нет сведений о том, как воспринимали иностранцы его русскую одежду: известно лишь, что многие из них “к приезжим форестиерам, то есть к иноземцам, ласковы и приветны”, а также то, что в глазах европейцев такое платье воспринималось как экзотическое и щегольское в точном значении этого понятия. Исследователи Лидия Ольшевская и Сергей Травников говорят о том, что русская одежда Толстого – признак его “национальной гордости”. И действительно, такая бравада русскостью может рассматриваться как осознанная позиция, если учесть, что Петр Андреевич был знатоком западной одежды и автором наиболее полного и детального описания мод европейских стран того времени на русском языке – “Путешествие стольника П. А. Толстого по Европе. 1697–1699 гг.”

Это сочинение – дневник, который вел Толстой во время своего путешествия и куда он скрупулезно записывал все наблюдаемые им реалии местного быта. Значительное место занимает здесь характеристика одежды жителей виденных им стран. И замечательно, что описывая ту или иную местную моду, Петр Андреевич часто сравнивает ее с родной, российской. Вот что, к примеру, говорит он о жителях Венеции: “Венецияне мужеской пол одежды носят черныя, также и женской пол любят убиратца в черное ж платье. А строй венецаго платья особый... Дворяне носят под исподом кафтаны черныя, самыя короткыя, толко до пояса, камчатые, и тафтяныя, и из иных парчей... а верхныя одежды черныя ж, долгыя, до самой земли, и широкыя, и рукава зело долгыя и широкыя, подобно тому как прежде сего на Москве нашивал женской пол летники”. Или еще: “Медиоланскыя жители мужеска полу платье носят черное, во всем подобно платью венецкому кавалерскому, только и разницы что у медиоланцев назади есть ожерелье власно [точно – Л.Б.] такие, какыя бывають у московских однорядок”.

Его ассоциации иногда неожиданны: “Женской народ в Малте... поверху покрываються черными тафтами долгими, даже до ног от головы; а на головах те их покрывала зделаны подобно тому, как носят старицы-киевлянки по обыкновению своему”. Обращает внимание Толстой и на прически иностранцев: “А на голове у нее [жены неаполитанского вицероя – Л.Б.] никакого покровения нет, и волосы убраны подобно московским девицам”.

Петр Андреевич дает развернутые характеристики различных итальянских мод – венецианских, медиоланских, неаполитанских, римских, флорентийских и т. д. Причем моды эти под пером путешественника обретают широкий культурный контекст – он привлекает сведения по истории голландского, “жидовского”, немецкого, польского, французского, испанского и даже турецкого костюма. Достоин внимания и то, что одежда у него всегда социально маркирована – различаются костюмы дворян, “купецких людей”, “слуг секретарских и шляхетских”, мастеровых и т. д. Как чисто дворянская принадлежность, им рассматривается, например, парик: “А простой народ волосы стригут догола, толко оставливають мало волосов по вискам”.

В представленной Толстым панораме костюмов различных стран и народов значительное место уделено московской одежде. Путешественник как будто рассматривает ее из западного “далека”, постоянно сравнивает с увиденным там и тем самым актуализирует ее, включает в живой культурный процесс. Понятно, что само это включение позволяло рассматривать русский костюм как часть европейской культуры, а это подрывало традиционный изоляционизм. А потому такое осмысление было как раз тем необходимым звеном, через которое пролегли в дальнейшем петровские преобразования по превращению, даже чисто внешнему, россиян в “политичных” и “окультуренных” европейцев. Понятия “сын Отечества” и “гражданин Европы” станут потом неразрывно слитыми.

Любопытно, что и те двести москвитов из Великого Посольства в Европу (1697–1698 годов), также сперва щеголяли в пышных старорусских костюмах. Однако уже в январе 1698 года все участники русской дипмиссии облачаются в европейские одежды. По возвращении же

москвитов в Россию их европейское платье поначалу воспринимается как щегольское и даже вызывает насмешки современников. Так, князь Федор Ромодановский, узнав, что посол Федор Головин оделся в немецкое платье, назвал его поступок “безумным”. И не подозревал Ромодановский, что совсем скоро (12 февраля 1699 года) знаменитые ножницы Петра I будут властно укорачивать полы и рукава стародавних московских кафтанов и ферязей; последуют и законодательные акты, предписывающие под страхом наказания ношение исключительно европейских костюмов. . . .

Но вернемся к “Путешествию стольника П. А. Толстого по Европе 1697–1699 гг.” Не увидевший свет в Петровскую эпоху, а потому не повлиявший непосредственно на события того времени, дневник этот был, тем не менее, весьма своевременным. Для того чтобы заставить россиян одеться по-европейски, надлежало и собственную одежду оценить как часть одежды этой самой Европы. И Толстой, пожалуй, впервые в России стал мерить традиционное русское платье европейским аршином. Дальнейший шаг сделает уже Петр I, унифицируя и насильственно насаждая западные образцы костюма и тем самым решительно порывая с традицией. . . .

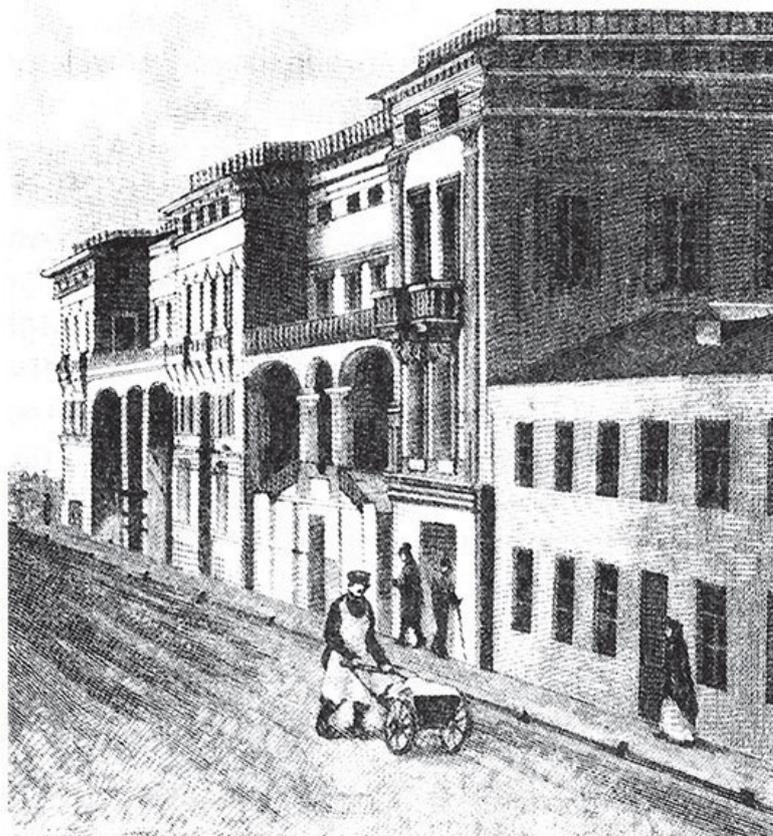
Все это будет позднее, а сейчас приглядимся повнимательнее к Петру Толстому. Он только что вернулся из европейского вояжа в Москву. Но что за метаморфоза! Вместо старомосковского одеяния на нем – модный французский костюм: ходит в парике, камзоле, шелковых чулках и башмаках с пряжками, демонстрируя свою приверженность новому и как бы предвосхищая преобразования Петра, поскольку моды эти (Толстой это тонко чувствовал) скоро станут характерным символом петровских реформ. А, возможно, он хотел лишний раз обратить на себя “высочайшее” внимание Петра, потрафить царю.

Ясно одно – Толстой стал уже человеком новой формации, он оказался у истоков радикальных перемен. И хотя в историю он войдет как дипломат и царедворец, почему-то хочется все смотреть и смотреть на этот бархатный, с иголочки, костюм стольника Петра Толстого, движения в котором так легки и свободны.

Сиятельный казнокрад, или Цена щегольства. Матвей Гагарин

Как культурно-исторический феномен щегольство начало складываться в России в Петровскую эпоху. Оно включало в себя определённый комплекс мировоззренческих, психологических и поведенческих черт. Следует тут же оговориться, что не существует формально-логического определения щегольства вообще, применимого для всех времён, стран и народов. Набор признаков, характеризующих это явление, исторически изменчив, всегда национально и культурно специфичен. В России первой четверти XVIII века среди свойств щегольства преобладали стремление выделиться из общей массы, установка на эпикурейство, браваду собственной внешностью и предметами быта, подчёркнутая куртуазность, безудержное увлечение любовной страстью и так далее. Образцом такого щёголя может служить, к примеру, камергер Екатерины I Виллим Иванович Монс (1688–1724), о котором мы расскажем позднее: дон-жуан и дамский угодник, модник, сочинитель любовных стихов и песен, галантный и “политичный” кавалер, закончивший свою жизнь на эшафоте из-за того, что покусился на супружеские права самого императора.

Однако в названный период мы нередко сталкиваемся с личностями, в которых проявляются не все, а лишь некоторые или даже всего одна характерная черта щегольства. Зато черта эта настолько бьёт в глаза окружающим, что она невольно абсолютизируется и приобретает самодовлеющий характер. Подобная “выдвинутость” (по выражению Юрия Тынянова) порой замещает весь набор присущих франтам качеств и делает возможным рассматривать её носителя в одном ряду с “полноценными” щеголями того времени.



Дом князя М. П. Гагарина на Тверской

Теперь перейдём к рассказу о князе Матвее Петровиче Гагарине (1659–1721), быт которого отличался чрезмерной роскошью (впрочем, часто граничившей с безвкусицей), которую он выставлял напоказ. В щегольстве его было что-то, – нет, не европейское, а скорее, азиатское, гарун-аль-рашидовское, приправленное поистине российским размахом. Слова младшего современника Гагарина, поэта Антиоха Кантемира, о том, что за модный кафтан щёголь готов отдать даже собственное имение (“Деревню взденешь потом на себя целу”), – отнюдь не преувеличение: парадный мундир князя с крупными бриллиатовыми пуговицами стоил целое состояние. За одни только пряжки его башмаков были заплачены десятки тысяч рублей. И крылатое грибоедовское “не то на серебре, на золоте едал” – применительно к Матвею Петровичу следовало бы понимать в буквальном смысле: сам он пользовался золотой посудой, а гостям в его доме подавались кушанья на 50 серебряных блюдах. И рядовой (“посредственный”) обед состоял у него также из 50 блюд. Но все мыслимые пределы превзошёл княжеский экипаж – с ним не могла конкурировать и карета сказочной Золушки: колёса его были сделаны из чистого серебра, а лошади подкованы золотыми подковами.

Поражал воображение и его дом в Москве, в Белом городе, выстроенный “палатным мастером” итальянцем Джованни Марио Фонтано. Стены в роскошных палатах были зеркальные, а потолки – из стёкол, на которых плавали в воде живые рыбы. Этот четырёхэтажный дом в венецианском стиле выходил фасадом на Тверскую улицу, образуя портал с двумя пави-

льонами; в уступах между ними, в арках, была устроена открытая терраса с балюстрадой. В бельэтаже у портала располагались белокаменные балконы с причудливой резьбой. Окна были с наличниками из орнаментов, высеченных из камня. Крыльцо с “оборотами”, с фигурами, с художественным орнаментом придавало дому неповторимый блеск. Под стать внешнему великолепию было и внутреннее убранство покоев: мрамор, хрусталь, бронза, золото, серебро, разноцветные наборные полы...

Позднее святитель Игнатий (Д. А. Брянчанинов) назовёт грехом тщеславия приверженность к роскоши, хвастовство вещами и одеждой. Но Матвей Петрович на этот счёт был, как видно, прямо противоположного мнения – иначе зачем он стал украшать оклады принадлежащих ему икон дорогостоящими алмазами? А ведь на это он потратил свыше 130 тысяч рублей в своём московском доме и (по свидетельству брауншвейгского резидента в России Фридриха Кристиана Вебера), и столько же – в Петербургском. И это по ценам того времени, когда годовая подушная подать с крестьянина (кстати, казавшаяся ему обременительной!) составляла 74 копейки! Украшательство... божественных ликов – это ли не кощунство со стороны человека, щеголяющего даже религиозными святынями!

Похвалялся Гагарин и крупным червлёным яхонтом (рубином), привезённым ему из Китая – это была одна из самых известных драгоценностей князя фантастической стоимости.

Роскошь и щегольство Гагарина казались особенно кричащими в сравнении с простым, лишённым всяких излишеств образом жизни самого царя. Василий Ключевский зафиксировал: “Вместо кремлёвских палат, пышных придворных обрядов, [у него] плохой домик в Преображенском и маленькие дворцы в новой столице; простенький экипаж, в котором, по замечанию очевидца, не всякий купец решился показаться бы на столичной улице; на самом – простой кафтан из русского сукна, нередко стоптанные башмаки со штопанными чулками”). При Дворе у него не было ни камергеров, ни пажей, ни камер-юнкеров. И это была сознательная позиция Петра, подчёркивавшего, что роскошествовать царю не пристало.

Известны случаи, когда немилость царя вызывал один только вид модного наряда на молодом нечиновном щёголе. Есть также свидетельства о том, что когда Пётр посещал чей-нибудь дом (а он часто являлся в гости нежданно-негаданно), то зорко следил, чтобы всё в нём (и утварь, и обстановка, и пища) строго соответствовали жалованию хозяина. В противном случае производилось тщательное расследование, за которым следовало наказание.

Почему же, столкнувшись со столь откровенным расточительством Гагарина, Пётр, обычно столь скорый на расправу, молчал и медлил?

Некоторые исследователи полагают, что царь благоговел перед знатностью Гагарина. Действительно, княжеский род Гагариных ведёт своё начало от легендарного князя Рюрика. Это та линия Рюриковичей, которая идёт от Владимира Мономаха, князя Киевского, через Юрия Долгорукого к Всеволоду Большое Гнездо, князю Владимирскому. Его прямой потомок, князь Михаил Голибесовский, живший во второй половине XV века, имел прозвище Гагара. От его сыновей и ведут свой род Гагарины. Так что Матвей Петрович древностью и знатностью рода мог поспорить с самим царём.

Только вот “порода” при Петре I не давала никаких преимуществ (местничество было упразднено ещё во времена правления царя Фёдора Алексеевича): дворян оценивали не по “знатности”, а по “годности”. Более того, Петра часто (и справедливо) упрекали в презрении к русской аристократии. Достаточно вспомнить Всешутейшие и Всепьянейшие Соборы, где едко высмеивались притязания древних родов (“кто фамилиею своею гораздо старее чёрта”) на власть и привилегии. По свидетельству князя Бориса Куракина, при Петре I, “ругательство началось знатым персонам и великим домам, а особливо княжеским домам многих и старых бояр... Многие [родовитые]... приутоплялися как бы к смерти”.

Причина бездействия царя по отношению к Гагарину кроется в том, что Матвей Петрович принадлежал к так называемой “своей компании” царя. Это было своего рода братство

близких сподвижников Петра I, где к царю обращались без подобострастия и церемоний (без “зельных чинов” и высокопарного “величества”). Они вместе гуляли, пили, казнили, делились между собой предметами любви и при этом решали важнейшие государственные дела. Связь “птенцов гнезда Петрова” была закреплена и семейным свойством: сын Гагарина был женат на дочери вице-канцлера барона Петра Шафирова, а дочь князя вышла замуж за сына канцлера графа Гавриила Головкина.

Надо сказать, что к щегольству своего окружения, как и к поддержанию роскоши Двора своей супруги, царь был весьма снисходителен. Он даже поощрял богатые, расшитые золотом кафтаны своих любимцев, изящные кареты цугом, череду слуг, одетых в гербовые ливреи. И царя не смущало, что костюм любого лакея Меншикова был более богат и изящен, чем его, государя. Пётр с удовольствием пользовался роскошными каретами Меншикова и Ягужинского. А приближённые царя должны даже были вести широкую разгульную жизнь с открытыми столами, приёмами, пирами, весельем, фейерверками! (Ну, кто тут станет интересоваться источником доходов?). Царь сам, к примеру, поощрял Меншикова к тому, чтобы его дом был представительским, настоящим роскошным дворцом. Это очень важное слово – “представительский”. Роскошь ближнего окружения Петра олицетворяли собой высшие чины в служебной иерархии России, следовательно, высокую идею величия державы. Показательно, что были случаи, когда и сам Пётр, обычно неаккуратный и непритязательный в одежде, под влиянием своего окружения облачался в щегольской костюм. Кроме того, сама долго вынашиваемая царём мысль о Российской империи была неотделима от понятия роскоши. Не случайно Пётр внёс доминирующую золотую ноту и в новую столицу России – Петербург: нет более в мире городов, где было бы столько золота в архитектуре. И всевозможные иллюминации, фейерверки так же ассоциировались у современников с роскошью – они напоминали горы сверкающих бриллиантов.

Как отметил Сергей Соловьёв, многие сподвижники царя стали отождествлять себя с государством и смотреть на казённые деньги как на собственные, полагая, что право на это и дают их великие заслуги. А свои заслуги перед державой имел и Матвей Петрович. Всем было известно, что он стяжал себе славу любимца Петра I. Голштинец граф Хеннинг Фридрих фон Бассевич, оставивший известные “Записки о России при Петре Великом”, заявил о Гагарине, что “царь уважал его за многие прекрасные качества”. И в самом деле, князь рано поступил на государеву службу и нёс её успешно, с радением. Он обратил на себя внимание Петра уже в 1701 году, когда руководил строительством шлюзов и каналов, соединением Волги и Дона. Задалась у Гагарина и служба в качестве московского коменданта с мая 1707 года. Но главным образом карьера Матвея Петровича была связана с Сибирью: он служил там и товарищем при брате, иркутском воеводе Иване Гагарине, затем стал нерчинским воеводой, побывал судьёй, а с 1706 года – главой Сибирского приказа. Оказавшись во главе Сибирской губернии с марта 1711 года, Гагарин вполне успешно справлялся с главными своими обязанностями: при нём возросли сборы налогов, рекруты из Сибири пополняли действующую армию, было закончено строительство Тобольского Кремля, в Китай отправлялись торговые караваны, развивались дипломатические отношения с восточными соседями России. А один современный панегирист князя восторгался тем, что тот в продолжение трёхлетнего срока раздал пленным, сосланным в Сибирь, 15 тысяч рублей.

Однако постепенно образ рачительного губернатора, радетеля интересов Отечества начал блекнуть. Огромная власть и почти полная бесконтрольность открывали большие возможности для злоупотреблений и коррупции, чем и занялись с присущим ему рвением и сам Гагарин, и его родственники, которых он постарался определить на самые выгодные должности. Особенно много возможностей предоставляли торговые дела с Китаем, Средней Азией и казахскими народами. Князь развернулся вовсю и, используя заниженные сведения о доходах, составил себе крупное состояние.

Уличать его в казнокрадстве начали уже в 1714 году. Заподозрив неладное, царь поручил архангельскому губернатору, полковнику Григорию Волконскому отправиться в Сибирь и провести на месте тщательное расследование действий Гагарина. Но Екатерина Алексеевна, которой сей сибирский начальник часто посылал знатные подарки, попросила закрыть на все глаза и дать о нем самый благоприятный отзыв. И все же Гагарин стал жертвой усердия обер-фискала Алексея Нестерова. Последний был выходцем из крестьян, и ему претили родовитые аристократы. (Забегая вперёд, скажем, что в 1724 году этот адепт справедливости сам будет казнён за растрату 300 тысяч рублей казённых денег). Только после непосредственного обращения Нестерова к царю в 1717 году была назначена следственная комиссия из гвардейских офицеров.

Несмотря на то, что Гагарин вернул в казну огромную сумму в 215 тысяч рублей, за Сибирской губернией числилась недоимка по таможенным сборам ещё более чем на 300 тысяч рублей. Пока шло следствие, Гагарин продолжал управлять губернией: его даже сделали членом Верховного суда по делу царевича Алексея. Против Матвея Петровича были выдвинуты 15 пунктов серьёзных обвинений: незаконные поборы и налоги с крестьян, расходование казны на личные нужды, взятки при отдаче винной и пивной продажи, вымогательства подношений у купцов, присвоение товаров, следовавших с караванами в Москву и многие другие. Выяснилось, что Гагарин чувствовал себя настолько безнаказанным, что присвоил себе три алмазных перстня и алмаз в гнезде, предназначавшихся Екатерине I.

По свидетельству шведского пленника Филиппа-Иоганна Страленберга, губернатор собирался образовать в Сибири самостоятельное королевство. Эта легенда, отметил новосибирский исследователь Михаил Акишин, отражала лишь “отголоски разговоров, которые вели князь М. П. Гагарин и верхи сибирской администрации”. Историк и литератор XIX века Павел Словцов в своей книге “Историческое обозрение Сибири” говорит не только о серьёзности намерений, но и о конкретных действиях губернатора: “Гагарин злоумышлял отделиться от России, потому что верно им водворены в Тобольске вызванные оружейники, и началось делание пороха”. Имелись сведения, что в этих целях он сформировал специальный полк, состоявший преимущественно из пленных шведов, которых он ранее облагодетельствовал и на которых поэтому делал ставку. Итак, над Гагариным сгустились тучи...

Каким же он был в действительности, князь Матвей Гагарин? Амбициозный лихоимец, щёголь, хитрец? Из-за отсутствия надежных свидетельств той эпохи, на вопрос этот отвечают авторы исторических романов. В книге “На Индию при Петре I” (1879) Григорий Данилевский нарисовал Гагарина исключительно чёрными красками. Это “пышный сатрап”, “первый потатчик всем грабителям и ворам”, “разоритель целой страны”, казнокрад и малодушный взяточник сильным мира сего. В этом же ключе изображён князь и в романе Павла Брычкова “Полуденный зной” (1999). Матвей Петрович здесь и бесчестный, и хитрый, и корыстолюбивый, наделённый острым умом провокатора. Как заурядный вор, требующий наказания, предстаёт Гагарин в романе Даниила Гранина “Вечера с Петром Великим” (2003). И лишь в романе Александра Родионова “Азь, грешный” (1999) автор пытается представить читателю не плакатного лихоимца с одной корыстолюбивой извилиной в мозгу, но воссоздаёт сложный живой характер. По Родионову, в Гагарине уживается “букет” таких, казалось бы, несовместимых свойств, как государственный ум, готовность пожертвовать всем ради Отечества – и торгашеская алчность; ставшее уже привычкой стремление погреть руки, извлечь личную выгоду из любого государственного поручения, административное рвение, благодаря которому в немыслимые сроки удаётся возводить крепости, строить остроги, – и типичная несокрушимая русская лень, истинно дворянское благородство – и склонность к мелким склокам, дразгам, обману; преклонение перед царём – и двоедушье, выражающееся во внутренней несогласии с иными распоряжениями Петра и в попытках уклониться от этих распоряжений в расчёте на пресловутое авось, но более всего на то, что в далёкой Сибири легче спрятать концы в воду...

Только в январе 1719 года Гагарин был уволен от должности и заключён под стражу, о чём говорила специальная инструкция: “Его царское величество изволил приказать о нём, Гагарине, сказывать в городах Сибири, что он, Гагарин, плут и недобрый человек, и в Сибири уже ему губернатором не быть, а будет прислан на его место иной”.

При этом Пётр первым делом арестовал Волконского, давшего похвальный отзыв о Гагарине. На упреки царя в обмане тот отвечал, что действовал по просьбе царицы, ибо не хотел поссорить августейшую чету. “Скотина! – парировал государь. – Ты бы нас не поссорил, я просто задал бы своей жене хорошую трепку! Она ее все равно получит, а вот ты будешь повешен”.

Когда китайские таможенные чиновники прознали об опале могущественного губернатора Сибири, они обратились к царю с просьбой о его пощаде. К ним присоединились и обретающиеся там пленные шведы, которые восхваляли его великодушное к ним отношение.

Да и Пётр, памятуя о своей давней приязни к Матвею Петровичу, не спешил с приговором. Граф фон Бассевич написал: “Не желая подвергать его всей строгости законов, царь постоянно отсрочивал его казнь и для отмены её не требовал от него ничего, кроме откровенного во всём сознания. Под этим условием, ещё накануне его смерти, он предлагал возвращение ему его имущества и должностей. Но несчастный князь, против которого говорили показания его собственного сына и который выдержал уже несколько пыток кнутом, ни в чём не сознавшись, поставил себе за честь явиться на виселицу с гордым и нетрепетным челом”. И только тогда царь понял: “неслыханное воровство” и упорство Гагарина должны подавить к нему всякое сочувствие даже со стороны его родных и друзей.

И приговор был вынесен. 16 марта 1721 года Гагарин был вздёрнут на виселицу перед окнами Юстиц-коллегии в присутствии царя, знатных вельмож и всех своих родственников. По завершении казни Пётр пригласил (точнее, заставил) всех, в том числе и родственников казнённого, посетить его, государев, поминальный обед. Было “полное заседание и питьё” той самой царской “своей компании”, к которой принадлежал когда-то и Матвей Петрович. Раздавались обычные здравицы. А под окнами дворца на обвитых траурными лентами инструментах играли музыканты, одетые в чёрное. Палили пушки на Царицыном лугу. Поистине, только Пётр мог отмечать поминки по государственному преступнику, а затем приказать, чтобы вельможный труп провисел на площади более семи месяцев – в назидание всем российским лихоимцам и казнокрадам. Только по истечении этого срока в фамильной усыпальнице Гагариных, в сельце Сенницы Озёрского района Московской области, тело Матвея Петровича было предано земле.

Как ни странно, память о Матвее Гагарине жива в истории российской культуры. Именно в его честь набережную в Петербурге прозвали Гагаринский Буян (это нынешний район Петровской и Петроградской набережной), и набережная на противоположной стороне Невы долгие годы также носила название Гагаринской. Сохранилась и народная песня о Гагарине, в которой говорится о том, что он кичится своими “хитрыми” палатами. Князь изображён возлежащим на кровати, мечтающим обогатиться в Сибири и построить новый дом:

*Не лучшие бы, не хуже бы государева дворца,
Только тем разве похуже – золотого орла нет.
Уж за эту похвальбу государь его казнил.*

Несмотря на сомнительность подобной трактовки отношений Петра и Гагарина, присущее князю хвастовство роскошью уловлено здесь совершенно точно.

В своём классическом труде “О повреждении нравов в России” князь Михаил Щербатов объяснял причины казнокрадства в Петровскую эпоху всё возрастающим стремлением общества к роскоши и щегольству, требовавших невероятных расходов. Гагарин тоже хотел стать записным щёголем. Любой ценой. И заплатил за это жизнью.

“Не скорбя о суете мира сего”. Александр Меншиков

Существует анекдот. Однажды Пётр I приказал генерал-прокурору Сената Павлу Ягужинскому подготовить указ: “Всякий вор, который украдёт настолько, что верёвка стоит, без замедления должен быть повешен”. Ягужинский отказался. “Государь, – сказал он, – разве ты хочешь остаться без подданных? Все мы ворует, все, только одни больше и приметнее других”.

Самым “приметным” казнокрадом и одновременно наипервейшим поклонником роскоши в Петровскую эпоху был фаворит царя, “полудержавный властелин” Александр Данилович Меншиков (1673–1729). Знакомясь с его жизнью и судьбой, невольно подпадаешь под обаяние этой необыкновенно крупной исторической личности. Крупной – во всех своих проявлениях. Светлейший Римского и Российского государства князь и герцог Ижорский, рейхс-маршал и генералиссимус, тайный действительный советник, Военной коллегии президент, генерал-губернатор губернии Санкт-Петербургской, от флота вице-адмирал красного флага, кавалер Орденов св. апостола Андрея, Слона, Белого и Чёрного орлов (высшие ордена России, Дании, Польши и Пруссии) и св. Александра Невского, подполковник Преображенской лейб-гвардии и полковник над тремя полками, капитан-компании бомбардир – таков сухой перечень чинов, регалий и должностей Александра Меншикова.



*Портрет князя А. Д. Меншикова.
Не ранее 1725 г.*

На деле же он был самым заметным, талантливым среди сподвижников Петра, его левой “сердечной” рукой – отважным воином, блестящим организатором, крепким хозяйственником; человеком предприимчивым, напористым, трудолюбивым, творчески активным.

Сын царского конюха, продававший пироги на московских улицах, он через посредство адмирала Франца Якоба Лефорта стал лично известен царю, легко вписался в его свиту, приняв не только идеи Петра, но весь его образ жизни. Именно сердцем, а не страхом был привязан он к государю. Солдат, а затем и сержант Потешного Петровского войска, царский денщик – Александр был всегда рядом с монархом. В 1697–1698 гг. он сопровождает царя в составе Великого посольства, а по возвращении из Европы собственноручно рубит головы мятежным стрельцам, вместе с Петром I бреет бороды и обрезает ножницами старомодное платье дворянам, и сам наряжается в щегольской европейский костюм.

Задаётся и его военная карьера. Если в 1704 году, после взятия шведской крепости Ниеншанц он не без гордости подписывает письмо своей невесте Дарье Арсеньевой громким титулом – “Шлиссельбургский и Шлотбургский губернатор и кавалер”, то в 1709 году он уже и светлейший князь, и фельдмаршал. Все самые главные баталии петровских войн – Шлиссельбург, Нарва, Калиш, Батурин, Полтава, Переволочна – прошли при решающем участии Александра. Неоценимы заслуги светлейшего и в строительстве “парадиза” – Петербурга, о чём написал Николай Костомаров: “Новая столица обязана своим созданием столько же творческой мысли государя, сколько деятельности, сметливости и умению Меншикова”.

Занимался князь и предпринимательством, причём использовал свою власть весьма успешно. Основывал металлургические заводы в Карелии, организовывал кораблестроение на Ладоге – он был неутомим. Все эти свершения покажутся феноменальными, если учесть, что Александр Данилыч был совершенно неграмотным – он с трудом мог подписать своё имя. Какой же цепкой памятью надо было обладать, чтобы держать в голове столько многообразных сведений! Впрочем, неграмотность не помешала ему стать членом Лондонского Королевского научного общества, о чём свидетельствует соответствующий диплом от 25 октября 1714 года, завизированный самим сэром Исааком Ньютоном.

О роли светлейшего в жизни государства свидетельствовал английский посол Чарльз Уитворт: “В России ничто не делается без его согласия, хотя он, напротив, часто распоряжается без ведома царя, в полной уверенности, что его распоряжения будут утверждены”. Уверенность эта была обоснованна – монарх видел в Данилыче единомышленника. Достаточно указать на письма царя к Меншикову. Как только не называет его Пётр – “товарищ”, “май либсте камрат”, “май херцен кинд”!

Царь щедро одаривал своего фаворита. “И награждён был таким великим богатством, – говорил князь Борис Куракин, – что приходов своих земель имел по полтораста тысяч рублей, также и других трезоров великое множество имел, а именно: в камнях считалось на полтора миллиона рублей...”. Кроме того, Меншиков был вторым после царя “душевлладельцем” России.

Но Пётр баловал любимца не только вотчинами и крепостными. В 1706 году, после победы под Калишем, например, он подарил светлейшему драгоценную трость, изготовленную по собственному эскизу царя. Её золотой набалдашник был усыпан алмазами, “а между алмазами три места финифтных”; верх набалдашника был украшен крупным изумрудом. Подарки европейских венценосных особ отличались не меньшей изысканностью. Датский орден Слона украшали шесть крупных бриллиантов; а польский король Август II Сильный подарил князю саблю с золотым эфесом, усыпанным алмазами; прусский король – запонку с большим алмазом.

Однако Александра Данилыча отличали не только великие заслуги перед Отчизной, но и не менее великие... пороки. Ему были свойственны высокомерие, тщеславие, стяжательство, бахвальство (парадным ли камзол, орденами, чинами или богатством). Подобные отнюдь не

привлекательные черты Меншикова были непосредственно связаны с его неукротимой тягой к роскоши.

Несмотря на то, что награды сыпались на него, как из рога изобилия, Меншиков был ненасытен – он всё увеличивал и увеличивал своё состояние, не гнушаясь недозволенными средствами. Принимал взятки от просителей, грабил польскую шляхту, закрепощал малороссийских казаков, отнимал земли у граничивших с его имениями помещиков. Но главное – он запускать руки в государственную казну. Светлейший был, пожалуй, самым значительным казнокрадом в истории России; он был взяточником высшей пробы, поскольку брал дань с других лихоимцев и взяточников рангом ниже, преступления которых он покрывал...

Но обратимся к истокам. Приверженность к роскоши обнаружилась у Александра довольно рано. Уже в 1697–1698 годах Меншиков был настолько приближен к царю, что, выполняя обязанности казначея, расходовал деньги не только на него, но и на себя. Сохранился любопытный документ – запись издержек на различные покупки для царя и его фаворита. В 1702 году для Петра I были куплены два парика стоимостью 10 рублей, в то время как для Меншикова – восемь на 62 рубля. В 1705 году общие расходы царя и Меншикова на экипировку составили 1225 рублей. Пётр довольствовался 40 аршинами ивановского полотна на порты. Остальные деньги были израсходованы на покупку штофов, тафты, кисеи, кружев, сукна, предназначавшихся для Меншикова и его близких.

Зная приверженность светлейшего к капризам европейской моды, 6 марта 1711 года Пётр прислал ему “в презент кафтан здешнего сукна” и прибавил: “Дай Боже на здоровье носить”. А позже царица решила порадовать Александра Даниловича наимоднейшим камзолом, сшитым по её заказу. Свой подарок из Амстердама 1 мая 1717 года Екатерина сопроводила письмом: “Посылаю к Вашей светлости камзол новой моды, которая ныне недавно вышла. И таких камзолов только ещё четыре персоны имеют, а именно один у царского величества, другой у цесаря, третий у короля английского, а четвёртый Вы иметь будете”.

О том, сколь роскошны были модные наряды Меншикова, свидетельствует опись его гардероба. Здесь среди прочего числятся 147 рубах без манжетов и с кружевными манжетами из голландского полотна, 50 кружевных и кисейных галстуков, 55 пар кружевных и шёлковых чулок, 25 париков, огромное количество простыней, подушек, скатертей и т. д.

А какой изысканной роскошью отличались экипажи светлейшего! Когда он выезжал, шестёрка лошадей в сбруе малинового бархата с золотыми и серебряными украшениями влек его золочёную в форме веера карету, на дверцах которой красовался его герб. Впереди шли скороходы и лакеи в роскошных ливреях, а сзади – пажы и музыканты, одетые в бархатные, расшитые золотом камзолы; шесть камер-юнкеров гарцевали около дверей кареты, и взвод драгун доверял процессию.

Царь невольно поощрял разгульную жизнь Меншикова с открытыми столами, приёмами, весельем и дорогостоящими фейерверками (хотя в то же время выговаривал ему за расточительность). Обеды у князя в торжественные дни состояли не менее чем из двухсот кушаний! Рассказывают, что Пётр, наблюдая из своего домика пир в роскошном доме Меншикова, всегда с удовольствием говорил:

– Вот как Данилыч веселится!

Это именно царь склонил светлейшего к тому, чтобы княжеский петербургский дом в стиле петровского барокко, стал представительским. Впрочем, то был не дом – дворец, который, как в своё время дворец покойного Лефортова в Москве, был одновременно и дворцом Петра – царь часто им пользовался. (О размерах дворца говорит тот факт, что впоследствии в нём разместился Сухопутный кадетский корпус). Свадьбы карликов, женитьба престарелого князя-папы Аникиты Зотова, пиры в викариальные дни – всё это проходило во дворце Меншикова. Светлейший изо всех сил старался подражать роскоши французских и англий-

ских аристократов: держал лучшую в столице кухню, множество иностранных слуг, отменный оркестр, пышно обставленные покои.

Столь же притягательным был Большой дворец Меншикова в Ораниенбауме. В солнечные дни на его террасах выставлялись в кадках дерева с “золотыми шарами”, сиречь апельсинами. А рядом с усадьбой раскинулось “малое увеселительное море”. Для этого на мелководной речке Каросте были сделаны специальные запруды. Александр Данилович особенно умилялся, когда по этому миниатюрному морю шли парусные суда.



Дворец А. Д. Меншикова в Москве. Фасад.

Князь обладал поистине бесценными сокровищами. Как сообщает в своей книге “Повседневная жизнь русских щеголей и модниц” Елена Суслина, “ в его владении находились и усы-

паннные драгоценными камнями шпаги, трости, пряжки, запонки, орденские кресты и звёзды, портреты в золотых рамах, золотые табакерки, украшенные алмазами, бриллиантовыми пуговицами, пояса с бриллиантовыми искрами и головные уборы – изумрудные перья с алмазами, какие в то время носили на шляпах, а также куски литого золота, жёлтые алмазы, красные лалы, белые и лазоревые яхонты, нитки жемчуга.”

На самом пике своего могущества князь имел свыше 150 тысяч душ крестьян. Его владения находились в 42 уездах Европейской России, а также в Прибалтике, Белоруссии, на Украине, в Пруссии и других местах. В “империи” Меншикова было свыше 3 тысяч сёл и деревень, 7 городов. По некоторым данным, он владел капиталом в 13 миллионов рублей, а также ему принадлежало более 200 пудов золотой и серебряной посуды.

Пётр узнал о злоупотреблениях Меншикова в 1711 году, однако специальная следственная комиссия была назначена только спустя несколько лет. Светлейшему пришлось вернуть в казну часть похищенного капитала, а также испробовать на своей спине знаменитую дубинку Петра – этим его наказание и ограничилось. Немаловажно, что в царском дворце у князя была надёжная и верная союзница – жена Петра, царица Екатерина Алексеевна. Ведь это Меншиков решил когда-то её судьбу, познакомив пленную лифляндку Марту Скавронскую с российским самодержцем. Она всегда стояла за князя горой. Однажды в ответ на ходатайства жены в пользу светлейшего Пётр в сердцах сказал: “Меншиков в беззаконии зачат, во грехах родила его мати, в плутовстве скончает живот свой. И если, Катенька, он не исправится, то быть ему без головы”. Однако в окружении царя было слишком мало людей, которым он доверял: приходилось прощать Данилычу его “неистовства и плутовства”. Показательно, что в 1720 году царь, несмотря на то, что уже знал о лихоимстве Меншикова, сделал его Президентом Военной коллегии.

В манере Меншикова одеваться было что-то вызывающее, дразнящее. Вот как описывает его Владимир Дружинин в романе “Именем Ея Величества”: “...Предстал в полном параде. Дразнит вельмож, закутанных в серое, тусклое, дразнит богатым узорочьем кафтана, а паче редким обилием наград... Все четыре ордена сияют, режут глаза завистникам”.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.